

Петр ТАТАУРОВ

...И СЛОВО ЭТО БЫЛО — РОССИЯ

Игорь СТРЕЖНЕВ

«СПАСИ МЕНЯ... СОЛОВЕЦКИМ МОНАСТЫРЕМ»



Петр ТАТАУРОВ родился в 1948 году. Окончил факультет журналистики МГУ, работал в издательствах, газетах, журналах. Член Союза журналистов СССР. Живет в Москве.



Игорь СТРЕЖНЕВ родился в 1936 году. Окончил Архангельский лесотехнический институт. Живет в Архангельске.

Литературным краеведением профессионально занимается с 1983 года. Публиковал статьи в центральной и местной печати. В 1989 году в Северо-Западном книжном издательстве вышла его книга «К студеным северным волнам».



Петр Татауров

...И слово это было—Россия

Игорь Стрежнев

«Спаси меня... Соловецким монастырем»

Очерки

Москва
«Молодая гвардия»
1990

Художник С. КОМАРОВА

Татауров П.
Т-23 ...И слово это было — Россия / Петр Татауров. «Спаси меня... Соловецким монастырем» / Игорь Стрежнев: Очерки; Худож. С. Комарова.— М.: Мол. гвардия, 1990.— 112 с., ил.— (Б-ка журн. ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия»; № 50 (465)).

ISBN 5-235-01653-X
ISSN 0131-2251

Очерк П. Татаурова — о личности и творчестве В. И. Даля. И. Стрежнев посвятил свое исследование теме «А. С. Пушкин и русский Север».

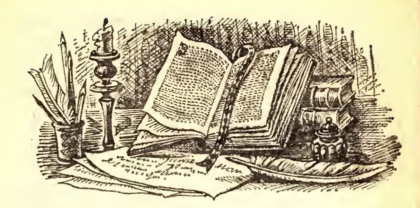
ББК 83.3Р1

Выпуск произведений в «Библиотеке журнала ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» приравнивается к журнальной публикации.

ISBN 5-235-01653-X
ISSN 0131-2251

Петр ТАТАУРОВ

...И СЛОВО ЭТО БЫЛО—РОССИЯ



Дочери Марии посвящаю

Странная, непонятная до сих пор Россия всегда была неразрешимой загадкой для всего остального мира. Западный рациональный ум, специальный и односторонний, никогда не забывающий «личных видов», так и не нашел объяснения русской натуре — всемирной и общечеловеческой, пышно и «разметисто» развитой, «без шпалер и заборов» (А. Герцен).

И действительно, никаким классическим законам логики она не подвластна, ни в какие известные формы не укладывается, не втискивается, конца и края ее никто так и не увидел, чтобы хоть с чего-то начать предполагаемое исчисление этого феномена. Возьмись мерить ее с добра и правды, и не знаешь, что делать с извечным ее деспотизмом и злом, приобщишь к Европе, не ведаешь, куда отнести вылезающую на всеобщее обозрение неистребимую азиатчину... «Русский народ есть в высшей степени поляризованный народ, он есть совмещение противоположностей,— писал Н. Бердяев.— Им можно очароваться и разочароваться, от него всегда можно ждать неожиданностей, он в высшей степени способен внушать к себе любовь и сильную ненависть. Это народ, вызывающий беспокойство народов Запада... Противоречивость и сложность русской души может быть связана с тем, что

в России сталкиваются и приходят во взаимодействие два потока мировой истории — Восток и Запад... В душе русского народа есть такая же необъятность, безгранность, устремленность в бесконечность, как и в русской равнине...»

Иррационализм россиянина мало что говорит западному человеку, как, видимо, и великодушная поэтическая подсказка Ф. Тютчева:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.

Бо́льшее, что мог извлечь из этого четверостишья заезжий к нам путешественник, так это то, что его универсальный аршин, которым он с успехом и с достаточной точностью промерил весь западный мир вдоль и поперек, к России не применим. Тут, может быть, впервые его инструментарий оказался бессильным перед поставленной задачей. И, удивившись непознанности рядом лежащего мира, констатировал факт — ключ к пониманию России лежит вне привычной ему системы координат, вне логики, вне рационального разумения и, стало быть, западному человеку, как правило, недоступен.

«Между нами и цивилизацией вера»,— подсказывал неугомонному исследователю России Ф. Достоевский, прямо указывая на душеспасительный посох русского человека в его почти тысячелетнем духовном пути. Обманувшиеся и обманутые, заблудившиеся и сбитые с толку, рано или поздно находили истину в вере, которую понимали шире только религиозного чувства. «Начавши с крика радости при переезде через границу,— признавался А. Герцен,— я окончил моим духовным возвращением на родину. В е р а в Россию спасла меня на краю нравственной гибели... За эту в е р у в нее, за исцеление ею — благодарю я мою родину» (разрядка моя.— *П. Т.*). Исцеленный верой, А. Герцен призывал: «Пора действительно знакомить Европу с Русью. Европа нас не знает... Пусть она узнает ближе наш народ, которого отроческую силу она оценила в бое, где он остался победителем; расскажем ей об этом мощном и н е р а з г а д а н н о м народе,

который... сохранил величавые черты, живой ум и широкий разгул богатой натуры под гнетом крепостного состояния и в ответ на царский приказ образоваться ответил через сто лет громадным явлением Пушкина... До сих пор мы были непростительно скромны и, сознавая свое тяжкое положение бесправия, забывали все хорошее, полное надежд и развития, что представляет наша народная жизнь» (разрядка моя.— *П. Т.*).

Непонимание России Западом рождало у него неуверенность и страх, подозрительность и враждебность. А это извечный источник всевозможных небылиц, порочащих выдумок и анекдотов, вывозимых из России вместе с пушниной и лесом, икрой и сувенирами. Сюда ехали, как правило, либо «на ловлю счастья и чинов», либо по крайней нужде, проклиная судьбу.

Грибоедовский «французик из Бордо» рассказывал, «как снаряжался в путь в Россию, к варварам, со страхом и слезами». Однако по приезде многие из них с удивлением обнаруживали, что «Россия не так страшна... люди как люди; и день довольно светлый, почти как у нас; где же вечные сумерки и полугодовая ночь? И лето также не морозное...» А страху на просвещенный и цивилизованный мир нагоняли путешественники вроде купца из Голландии Исаака Массы, который писал, что будучи в Москве он «наблюдал, как сидевший против дома измученный голодом молодой человек с большой жадностью поедал сено в течение четырех дней». Сытый Исаак, желая продемонстрировать миру свое человеколюбие, оправдывался: «Я сам охотно дал бы поесть момодому человеку, но, опасаясь, что это заметят и нападут на меня, не посмел исполнить своего намерения». И тот бедняга умер...

Европеец, вечно толкующий о человечестве, как верно заметил А. Хомяков, никогда не доходил вполне до идеи человека. У нас же все иначе. «В нас живет желание человеческого сочувствия; в нас беспрестанно говорит теплое участие к судьбе нашей иноземной братии, к ее страданьям, так же как к ее успехам; к ее надеждам, так же как к ее славе. И на это сочувствие, и на это дружеское стремление мы никогда не находим ответа: ни разу слова любви и братства, почти ни разу слова правды и беспристрастия. Всегда один отзыв — насмешка и ругательство;

всегда одно чувство — смешение страха с презрением. Не того желал бы человек от человека».

«Немцев» в России уважали за знания, аккуратность, педантизм, приглашали их служить, доверяли им воспитание детей, управление хозяйством, да и в науках за ними оставляли первые места... Иные оправдывали надежды, кого-то изгоняли с позором. В России всегда доставало поклонников всему иноземному, без разбора хвалящих все «ненашенское», но в то же время не переводились и те, кто весьма критически относились ко всему заемному, чужому. «Они выписывают мастеров и управителей из-за границы, в полной уверенности, что коли он немец или француз, так должен все знать и все уметь, и не замечают того, что к ним едут из-за моря одни выжимки, сор и брак, люди, которым там уже некуда деваться» (В. Даль. «Вакх Сидоров Чайкин»).

Этим все равно куда ехать, их девизом было: «Ubi ben ibi patria» — «Где хорошо, там и родина». Они знали, что мы плохие организаторы, не рачительны к талантам, которые прозябают втуне, гибнут сотнями и тысячами, извращаются от ненужности, бессилия употребить способности на полезное дело. С болью писал об этом Иван Аксаков: «...при всей нашей даровитости мы так мало производительны: пропорциональное отношение цельных, законченных ученых и литературных у нас трудов к сумме дарований, которыми изобилует Россия, поразительно скудно».

Но приезжали к нам и другие иностранцы. В духовной открытости России, доброжелательности к инородцам, веротерпимости они видели залог великого будущего державы, и быть причастными к ее судьбе почитали особой честью. Вероятно, их привлекало в русских и то, что им «чужда мистика расы и крови», что у них есть «жалость к падшим, униженным», что «любовь ставят выше справедливости», наконец, их устремленность в будущее, к Граду Грядущему...

Вступая в духовный диалог с Россией, они догадывались, что величие ее не в размерах территории, не в численности населения, не в дешевой рабочей силе и емком рынке, а совсем в иных, непривычных для них сферах и материях, в которых и кроется разгадка национальных особенностей народа. Но туристи-

ческим любопытством тут не обойтись, нужно не только пожить с народом, но и разделить с ним радости и тяготы, взять на себя часть его исторической ноши, ответственность за будущее, то есть духовно соединиться с ним. Только вручив себя России, *поверив* ей, можно надеяться на ответное чувство, на постижение ее тайны.

Итак, духовное родство для России всегда было выше кровного. Собирая под свое крыло не только славян, но и всех, нуждающихся в защите и помощи, желающих послужить верой и правдой, она обнаруживала тем самым, может быть, главное свое призвание — объединять народы в любви и братстве. Эту особенность нашей истории очень точно выразил Ф. Достоевский: «Всемирность и общечеловечность — вот назначение России». Правда, призвание ее до сих пор не реализовано, предначертанный путь много раз прерывался трагическими национальными потрясениями. И все же при всех бедах и катастрофах, не выраженных во всю мощь силах народа, Россия постоянно излучала какой-то духовный магнетизм, который, подобно тяготению планеты, вовлекал на свою орбиту все, что готово было взаимодействовать с ней. Конечно, и орбиты у спутников были разной высоты, и светились они порой отраженным светом российской славы, но были и такие, что прибавляли ей собственный, особенно когда духовные спектры их совпадали.

И таких немало было в нашей истории. Достойно служили России итальянец Растрелли, француз Фальконе, немец Брюллов, умножали российскую славу Барклай-де-Толли и Лермонтов, имевшие шотландских предков, Карамзин — татарских... А Пушкин, потомок «арапа Петра Великого»? Но вот, что сказал о нем Гоголь: «Пушкин есть явление чрезвычайное, и, может быть, единственное явление русского духа».

Можно было бы назвать целый ряд имен подвижников отечественной науки, культуры, искусства, полководцев, которыми мы и сегодня гордимся, несмотря на их нерусское происхождение.

Один из них — Владимир Иванович Даль.

«Отец мой выходец, а мое отечество Русь»,— говорил он о себе. «Дух, душа человека — вот где надо искать принадлеж-

ности его к тому или иному народу. Чем можно определить принадлежность духа? Конечно, проявлением духа — мыслью... Кто на каком языке думает, тот к тому народу и принадлежит. Я думаю по-русски».

Возможно, суждения Даля не бесспорны, но обращает на себя внимание выбор критерия принадлежности к тому или иному народу — дух, душа, язык. Думая по-русски, датчанин по происхождению Даль понимал и мог передать в художественной форме многие душевные тонкости русского человека, что позволило ему прослыть не только знатоком национального характера, но и стать довольно известным писателем своего времени.

Судя по некоторым воспоминаниям, «немецкие» качества Даля не всем нравились в обиходе, но, с другой стороны, как знать, сумел бы он без аккуратности и известной доли педантизма одолеть главную вершину своей жизни — собрать и издать «Словарь живого великорусского языка». Эту мысль подчеркнул в речи о Гильфердинге, Дале и Невоструеве на заседании Общества любителей российской словесности И. Аксаков. «И Гильфердинг, и Даль — оба не русские по крови; но тем более причины для нас радоваться той нравственно притягательной силе русской народности, которая умела не только вполне усыновить себе этих иностранцев по происхождению и привлечь их к разработке своих умственных богатств, но и одухотворить их нерусское трудолюбие русской мыслью и чувством. Да, страстно преданные России и русскому народу, оба они — в Гильфердинг, и Даль — в то же время не по-русски (к счастию, может быть, для дела) относились к труду. Это нерусское свойство видим мы в упорстве труда, в размеренном и вместе неослабном, настойчивом движении к цели, в правильном распределении работы, одним словом, в таком отношении к труду, которое не нуждается во внешнем возбуждении, чуждо запальчивости, не знает ни скачков, ни перерывов, ни лени, ни уныния, не ищет одолеть задачу сразу, приступом или запоем,— что так свойственно нам, природным русским,— но которое является действием высокого самообладания, всегда бодрой, спокойно и ровно напряженной воли».

Оба начала — голос крови и голос сердца — заметно боролись в Дале. Он писал очерки, рассказы, повести о быте, традициях,

нравах народа, сочинял сказки и считался большим знатоком русского характера. И в то же время был исправным чиновником — ценимый начальством, не терпевший никакого разгильдяйства у подчиненных.

Григорович в своих воспоминаниях рассказывает такой эпизод. Встретив где-то Тургенева, тогда еще молодого человека, Даль уговорил его поступить к нему на службу в канцелярию. Тургенев, никогда не думавший служить, но не имевший духа отказаться по слабости характера, согласился. Несколько дней спустя после вступления в канцелярию Тургенев пришел часом позже и получил от Даля такую нахлобучку, после которой тотчас же подал в отставку.

Эпизод этот описан у нескольких мемуаристов, и рассказывается он по-разному лишь в деталях, в главном же для нас — в передаче особенностей характера Даля — все сходятся. Вполне соответствует этому впечатлению и словесный портрет, набросанный Григоровичем после первого посещения Даля. «Встретил он меня без всяких особенных изъявлений, но ласково, без покровительственного оттенка. Он был высок ростом, худощав, ходил дома не иначе, как в длинном коричневом суконном халате, пристегнутом у пояса; меня особенно поразила худоба его лица и длинного, заостренного носа, делившего на две части впалые щеки, не совсем тщательно выбритые; под выгнутыми щетинистыми бровями светились небольшие, но быстрые, проницательные глаза стального отлива. Наружность его,— я скоро в этом убедился,— отвечала его характеру, несколько жесткому, педантичному, далеко не общительному».

Вероятно, для такой кропотливой работы, какой является составление словаря, для основательности его и всеохватности, и нужен был именно такой человек — прекрасно знающий стихию народного языка, быт, традиции и обладающий к тому же не только научной складкой, но и характером собирателя, скрупулезного систематизатора, не упускающего ни единой возможности пополнить свой научный багаж. И эту особенность Даля подметил тогда еще молодой Григорович. «Мною Даль заинтересовался, собственно, потому, что повесть моя была из простонародного быта, который всегда занимал его, как занимало вообще все, ка-

савшееся быта народа, языка, сказок, пословиц. У него по этой части скоплены были сокровища и можно было чему-нибудь поучиться. Пользуясь своим положением, он рассылал циркуляры ко всем должностным лицам внутри России, поручая им собирать и доставлять ему местные черты нравов, песни, поговорки и проч. Он охотно давал мне возможность пользоваться таким материалом у себя на дому, он сажал меня в кабинете, и я по целым часам переписывал все, что казалось мне особенно характерным».

Отца Даля — Иогана Христиана (Ивана Матвеевича), когда тому едва исполнилось двадцать лет, императрица Екатерина II пригласила в Россию придворным библиотекарем. Молодой, но к тому времени весьма образованный, он знал несколько языков — древних и новых, русский знал «как свой». Несколько позже, окончив в Германии медицинский факультет, он вновь вернулся в Россию, где женился на девушке из семьи обрусевших «выходцев». Мать Владимира Ивановича владела пятью языками, была музыкальна, имела голос «европейской певицы».

Сведений о детстве Даля немного. Он не любил писать воспоминаний о себе, начинал не раз, но вскоре бросал. Мы можем лишь предполагать, что, имея таких родителей, Владимир рос и воспитывался в благоприятной для формирования его умственных способностей, появления филологических наклонностей атмосфере. Вероятно, в доме была неплохая библиотека. Во всяком случае, известно, что он много читал, пописывал стихи, подражая Карамзину, Жуковскому, Батюшкову; под впечатлением басен Крылова пробовал и сам сочинять что-то в сатирическом жанре.

Мать, женщина широко образованная, всему обучала детей сама, учителей нанимали лишь по математике и черчению. Как вспоминал Даль, отец «при каждом случае напоминал нам, что мы русские», и в доме говорили только по-русски.

Двенадцати лет Владимир стал кадетом Морского корпуса, где пробыл пять лет. Особо добрых воспоминаний в его памяти эти годы не оставили, более того, считал, что «замертво убил время». «3 марта 1819 года... мы выпущены в мичмана, и я по желанию написал в Черное море в Николаев. На этой первой

поездке моей по Руси я положил бессознательное основание к моему словарю, записывая каждое слово, которое дотоле не слышал»,— читаем в «Автобиографической заметке». Так началось главное дело его жизни, значение которого тогда он едва ли понимал.

Прожил Даль семьдесят один год (1801—1872 гг.), и пятьдесят три из них — почти всю сознательную жизнь — он собирал и записывал слова, пословицы и поговорки, песни, сказки,— все, чем изустно богат наш народ. Для «выходца», считающего себя русским, лучшего пути к сердцу, душе народа не придумать. «Во всю жизнь свою я искал случая поездить по Руси, знакомился с бытом народа, почитая народ за ядро и корень, а высшие сословия за цвет и плесень, по делу глядя...» — так кратко определил цель и смысл своих усилий Владимир Иванович.

Уважительное отношение к народу, к «ядру и корню»,— пожалуй, одно из самых сильных чувств, всю жизнь владевших Далем. Куда бы за долгую жизнь его ни забрасывала судьба, всюду собирал он, копил и осмысливал каждую черточку характера местного люда, язык и нравы. Его рассказы и повести на местном материале точны не только в деталях, они как бы пронизаны цветом и запахом виденной им жизни. Очень редкое качество у писателей даже весьма даровитых. Не потому ли он и осмелился отказать подобрать Жуковскому, которого безмерно уважал, сюжет для «восточной» поэмы? «Я обещал Вам основу для местных, здешних дум и баллад... а между тем обманул,— отвечает он Жуковскому.— Но дело вот в чем, рассудите меня сами: надобно дать рассказу цвет местности, надобно знать быт и жизнь народа, мелочные его отношения и обстоятельства... Иначе труды Ваши наполовину пропадут; поэму можно назвать башкирскою, кайсацкою, уральскою,— но она, конечно, не будет ни то, ни другое, ни третье».

Достаточно смелый ответ, если иметь в виду литературные авторитеты обоих. Однако сказано от чистого сердца, прямо, с уважением к труду старшего собрата по перу. Недаром звался за глаза — «несносно честный и правдивый».

Государевой службе — от кадета до статского генерала — Даль отдал сорок пять лет. Хоть и выслужил два креста, две зве-

зды, медали, а уходил в отставку «по болезненному состоянию» с тяжелым сердцем. «Прямым, честным и добросовестным людям служить нельзя»,— с некоторой обидой, нелицеприятно сообщал он губернатору. И обида была не за себя, не за оставленную службу, а за мужиков, притесняемых лихоимцами и казнокрадами. Помочь же обиженным он ничем не может, его записки, письма наверху вызывают лишь раздражение, неудовольство. Еще бы, смотрите, что он пишет: «Что делает в Нижегородской губернии полиция с крестьянами, этого не только правительство не знает, но и не поверит, если услышит о том, в уверенности, что в наш век и время, в самой середине России, в Нижнем, не может быть речи об ужасах, известных по преданию давно минувших лет... Семеновский исправник, подобрав себе из подчиненных шайку, разъезжает по уезду и грабит, грабит буквально, другого слова помягче нет на это; он вламывается в избы, разузнав наперед, у кого есть деньги и где они лежат, срывает с пояса ключ и ищет в сундуках и, нашедши деньги, делит их тут же с шайкою своею и уезжает». Или вот еще: «Чиновники ваши и полиция делают, что хотят, любимцы и опричники не судимы. Произвол и беззаконие господствуют нагло, гласно. Ни одно следствие не производится без посторонних видов, и всегда его гнут на сторону неправды. В таких руках закон — дышло: куда хочешь, туда и воротишь...»

Итак, карьера закончена, начинал во флоте — на Черном и Балтийском морях, участвовал в турецком и польском походах, состоял чиновником особых поручений у Оренбургского губернатора, служил в Петербурге, был управляющим Нижегородской удельной конторой... Но еще была причина подать в отставку — Словарь. Объем предстоящей работы порой страшил — хватит ли сил, и возраст уже нешуточный, а сделано в лучшем случае половина.

Зимой 1860 года на заседании Общества любителей российской словесности Даль прочел доклад «О русском Словаре». Объявив, что труд свой он назвал: «Словарь живого великорусского языка», пояснил, что в него он собрал живую речь «нынешнего великорусского поколения». Главное внимание составитель обращал на язык простонародный, который, по его мнению, можно без

помех «переносить в письменный язык, никогда не оскорбляя его грубою противу самого себя ошибкою, а напротив, всегда направляя его в природную свою колею, из которой он у нас соскочил, как паровоз с рельсов; они оскорбляют разве только изрусевшее ухо чопорного слушателя».

Даль утверждал, что для образованного круга язык еще не сложился и есть два течения — «обрусевший по виду между пишущей братиею латино-французско-немецко-английский язык да свой природный, топорный, напоминающий ломовую работу, квас и ржануху». Он призывал прислушаться ко второму, считая, что если не ломать и не коверкать его, то «тогда он будет хорош». Многие беды языка — в незнании его, нелюбопытстве, щеголяющих иностранными, искусственными речениями. У народа на всякий случай есть нужное, точное, благозвучное слово, а когда его вроде бы не оказывается для новых обозначений, то его легко образовать из уже имеющихся корней. «Если недостает отвлеченных и научных выражений, то это не вина народного языка, а вина делателей его: таких выражений нигде в народе не бывало, а они всегда и всюду образовались по мере надобности, из насущных; потрудитесь, поневольтесь, прибирайте, переносите значение слов из прямого понятия в отвлеченное, и вы на бедность запасов не пожалуетесь. Притом, повторяю, мы утверждаем наобум и сами не знаем, что у нас есть, а чего нет». И далее он приводит множество примеров неразумных, на его взгляд, замен народных выражений иноязычными.

С какими-то утверждениями автора тут можно согласиться, с какими-то следовало бы и поспорить, однако направленность его мыслей, пафос выступления все же заслуживают поддержки. Даль всячески противится засорению языка народа чуждыми ему речениями, справедливо полагая, что это может привести к нарушению, а может быть, и разрушению, многих национальных особенностей великороссов. «Хотите или нет атмосферу называть мироколицею, это ваша воля: но инстинкт, по нерусскому звуку и двойному набору трех, непроизносимых вкупе русскою гортанью, согласных должен бы замениться побудком, как говорят на Севере, или побудкою, по восточному говору. Инстинкт можно выговорить только западным про-

изношеньем букв Н, К, Т, то есть кончиком языка, а наше полное, гортанное произношенье такого слова не принимает. Если смысл в этом, навязывать земле, целому народу слова, которых он, не наломав смолоду языка на чужой лад, никак выговорить не может? *Гуманно и либерально* ли это?..»

Даль настаивал, что в русском языке при желании всегда можно найти равноценную замену любому иностранному слову. Если же чужое имеет множество значений, то это свидетельствует прежде всего о его скудости, серьезном недостатке, вынужденности пользоваться одной формой для передачи разного содержания. «Укажите мне пример, где бы вместо *серьезный* нельзя было сказать: чинный, степенный, дельный, деловой, внимательный, озабоченный, занятой, думный, думчивый, важный, величавый, строгий, настойчивый, решительный, резкий, сухой, суровый, пасмурный, сумрачный, угрюмый, насупистый, нешуточный; не *шутя*, поделу, взабыль и прочее, и проч. Можно бы насчитать и еще с десяток слов; если же вы найдете, что все они не годятся, то я волен буду думать, что вы связаны с нерусскими словами одною только силою привычки и потому неохотно с ними расстаетесь. А на привычку есть отвычка, на обык перевык. Наконец, скажу вам еще тайну: думайте, мыслите по-русски, когда пишете, и вы не полезете во французский словарь: достанет и своего; а доколе вы будете мыслить, во время письма, на языке той книги, которую вы последней читали, дотоле вам недостает никаких русских слов, и ни одно не выскажет того, что вы сказать хотите. Переварите то, что вы читали, претворите пищу эту в особь свою, тогда только вы станете писать по-русски.

Испещрение речи иноземными словами (не говорю о складе, оборотах речи, хотя это не менее важно: теперь мы беседуем о *словаре*) вошло у нас в поголовный обычай, а многие даже щеголяют этим, почитая русское слово, до времени, каким-то неизбежным худом, каким-то затоптаным половиком, рогожей, которую надо усыпать цветами иной почвы, чтобы порядочному человеку можно было по ней пройтись».

Всем этим веяниям Даль как мог противился, его речь была подчеркнуто русской, он возмущался каждым инородным

словом, высказывал неприятие любому заимствованию. «Читающему населению России скоро придется покинуть свой родной язык вовсе и выучиться, заместо того, пяти другим языкам: читая доморощенное, надо мысленно перекладывать все слова на западные буквы, чтобы только добраться до смысла: ведь это цифирное письмо!

Но и этого мало; мы, наконец, так чистоплотны, что хотим изгнать из слов этих всякий русский звук и сохранить их всецело в том виде, в каком они произносятся нерусскою гортанью. Такое чванство невыносимо; такого насилия не попустит над собою ни один язык, ни один народ, кроме — кроме народа, состоящего под умственным или нравственным гнетом своих же немногих земляков, переродившихся заново на чужой почве.

Если один онемечился, изучая замечательных писателей, каких он у себя дома не найдет; если другой, по той же причине, офранцузился, третий обанглячанился, и так далее, то могут ли все они требовать, поучая, наставляя и потешая нас, чтобы каждый из нас, вычитывая, что в них переварилось, поинмал все те языки, какие они изучили сами, и чтобы мы перекладывали, мысленно, беседу их на пять языков? Коли так, то не лучше ли уж нам взяться прямо за подлинник, который, по общему закону, не должен же быть ниже подражания!

Если чужое слово принимается в другой язык, то, по крайней мере, позвольте переиначить его на столько, на сколько этого требует дух того языка: он господин слову, а не слово ему! И разве чистяки наши не видят, что они, при всей натуге своей, все-таки картавят и что природный француз и англичанин выщербленного у него слова, в русской печати, никак не узнают!

Ведь и римляне всегда приурочивали и латынили усвоенное ими чужое слово, без чего не могли ни выговорить, ни написать его; то же делают и ныные все прочие народы; что же это мы, охотно обезьянничая и попугайничая, в этом случае хотим самодуром установить для себя противное правило? Этому две причины: первая — тщеславие, чванство: мы знаем все языки; другая — невежество: мы не знаем своего».

Доходя подчас до крайностей в суждениях, Владимир Ивано-

вич тем не менее все же чувствовал, что язык развивается по своим внутренним законам, мало поддающимся регулированию извне. «Составитель словаря не указчик языку, а служитель, раб его; здесь можно сказать о всяком писателе: напишешь пером, не вырубишь топором. Сколько можно было собрать этих чужих речений мимоходом, посвящая весь досуг свой сбору и обработке русских слов, столько внесено в словарь, и с умыслу не упущено ни одного. Одна часть слов этих более или менее приурочилась у нас, и собиратель не вправе выселять их по своему произволу; дело писателей покидать их и дать им выйти из обыка; другая часть, все еще нам чуждая, включена для того, чтобы противопоставить русские отвечающие им выражения. При этом изредка и по необходимости, только при переводе чужих слов, случалось мне и самому прилаживать и применять русские слова, не знаю, насколько удачно, а думаю, что не в противность языку, а в духе его».

На попытки отговорить Даля от такой твердой позиции, на разговоры, что, мол, уж очень придирчив, он упрямо отвечал, что подобное убеждение «ошибочное и вредное, как всякая ложь или ошибка: оно растлевает ум и сердце». И делал убедительный вывод: «Коль скоро мы начинаем ловить себя врасплох на том, что мыслим не на своем, а на чужом языке, то мы уже поплатились за языки дорого: если мы не пишем, а только переводим, мы, конечно, никакого подлинника произвести не в силах и начинаем духовно пошлеть. Отстав от одного берега и не пристав к другому, мы и остаемся межеумками. С языком шутить нельзя: словесная речь человека — это видимая, осязательная связь, звено между душою и телом, духом и плотью».

Составитель Словаря не скрывает, что он не претендует на строгую научность в расположении слов и их производных, однако он достиг другого: словарь можно «если не читать, то перелистывать», прослеживать связь слов и их сочетаний. Примеры употребления слов «взяты из обихода, из простой русской речи, и туда же пошли десятка три тысяч пословиц, поговорок и разных народных речений». «Самое усиленное старанье прилагал я, чтобы достигнуть полноты словаря, относительно выражений народных, и верно объяснять их. Язык народа, бесспорно, глав-

нейший и неисчерпаемый родник или рудник наш, сокровищница нашего языка, который, на письме, далеко уклонился от того, чем бы ему следовало быть».

И завершил выступление Даль весьма красноречиво: «Однако — довольно. Речь моя протянулась, как голодное лето. Я начал было коротко, но, что наболело — не стерпело, и квашня через край ушла. Я хотел только показать, над чем и как я работаю: прибавлю еще, что это не есть труд ученый и строго выдержанный; это только сбор запасов из живого языка, не из книг и без ученых ссылок; это труд не зодчего, даже не каменщика, а работа подносчика его; но труд целой жизни, который сбережет будущему на сем же пути труженику десятки лет. Передний заднему мост».

После доклада члены Общества во главе с А. Хомяковым «горячо и настойчиво» стали искать средства для издания Словаря. Вот как вспоминает об этом сам Владимир Иванович. «Дело составителя было при сем заявить о всех затруднениях и неудобствах, какие он мог предвидеть, давно уже сам обсуждая это дело. Словарь доведен только еще до половины, и едва ли прежде десяти или восьми лет может быть окончен; собирателю под 60 лет; издание станет дорого, а между тем, вероятно, не окупится; кому нужен неоконченный словарь?

Но нашлось несколько сильных и горячих голосов — и первым из них был голос М. П. Погодина,— устранивших все возражения эти тем, что если видеть всюду одни помехи и препоны, то ничего сделать нельзя; их найдется еще много впереди, несмотря ни на какую предусмотрительность нашу; а печатать словарь надо, не дожидаясь конца его и притом не упуская времени. Самая печать неминуемо должна продлиться несколько лет, а потому будет еще время подумать об остальном, лишь бы дело пущено было в ход.

Тогда поднялся еще один голос, А. И. Кошелева, с другим вопросом: чего станет издание готовой половины Словаря? И по ответу, что без трех тысяч нельзя приступить к изданию, даже рассчитывая на некоторую помощь от выручки, деньги эти были, так сказать, положены на стол».

Что мы сегодня знаем об Александре Ивановиче Кошелеве? Увы, еще меньше, чем о С. Морозове, поддержавшем Художественный театр, С. Мамонтове — помогавшем окрепнуть таланту Шаляпина, многих художников... О Кошелеве известно, что он был публицистом и общественным деятелем, участвовал в подготовке крестьянской реформы 1861 года, издавал журналы «Русская беседа» и «Сельское благоустройство». У него на квартире собирались славянофилы, он один из подписавших Послание из Москвы к сербам (А. Хомяков, М. Погодин, А. Кошелев, И. Беляев, Н. Елагин, Ю. Самарин, П. Бессонов, К. Аксаков, П. Бартенев, Ф. Чижов, И. Аксаков).

Типично русская черта — собирать силы и средства в трудную минуту, обращаясь к миру: так собирались ополчения, возводились храмы, ставились памятники... Позже появились и богатые жертвователи, меценаты. Чувствами большинства из них руководила не выгода, не способ размещения капитала, а желание поддержать все талантливое в национальной культуре, патриотизм. Но это уже тема особого разговора. Во всяком случае, когда кошелевские деньги подошли к концу, на 2,5 тысячи расщедрился и государь.

Первое издание Словаря было подготовлено и вышло в 1863—1866 гг. В «Напутном слове» автор писал: «Все, что сделано было доселе, со времен петровских, в духе искажения языка, все это, как неудачная прививка, как прищепа разнородного семени, должно усохнуть и отвалиться, дав простор дичку, коему надо вырасти на своем корню, на своих соках, сдобриться холей и уходом, а не насадкой сверху... Русской речи предстоит одно из двух: либо испошлеть донельзя, либо, образумясь, своротить на иной путь, захватив притом с собой все покинутые второпях запасы.

Взгляните на Державина, на Карамзина, Крылова, на Жуковского, Пушкина и на некоторых нынешних даровитых писателей, не ясно ли, что они избегали чужеречий; что старались, каждый по-своему, писать чистым русским языком? А как Пушкин ценил народную речь нашу, с каким жаром и усладою он к ней прислушивался, как одно только кипучее нетерпение заставляло его в то же время прерывать созерцания своим шумным взрывом

одобрений и острых замечаний и сравнений — я не раз был свидетелем.

Вот в каком отношении пишущий строки эти полагает, что пришла пора подорожить народным языком и выработать из него язык образованный. Народный язык был доселе в небрежении; только в самое последнее время стали на него оглядываться, и то как будто из одной снисходительной любознательности».

Раздумья Даля об истоках, природе и жизнеспособности языка приводят его к однозначному выводу: «Живой народный язык, сберегший в жизненной свежести дух, который придает языку стойкость, силу, ясность, целость и красоту, должен послужить источником и сокровищницей для развития образованной русской речи... Можно ли отрекаться от родины и почвы своей, от основных начал и стихий, усиливаясь перенести язык с природного корня его на чужой, чтобы исказить природу его и обратить в растение тунеядное, живущее чужими соками?»

Сказано почти сто тридцать лет назад, но разве к нашему времени не применимо? Разве язык наш не искажается до неузнаваемости, не засоряется без нужды «разнородиым семенем», не испошляется сленгом и откровенными ругательствами? Конечно, было бы наивным требовать сохранения языка в неприкосновенности — меняется сама жизнь, вместе с ней изменяется и общественное сознание, стало быть, и язык должен отражать новые реалии. Языку, как и любой подвижной системе, в равной степени свойственны как консерватизм, так и способность к развитию. Стало быть, его нельзя сохранить на долгое время в неизменном виде, как, впрочем, стоит возражать против насильственного его обновления за счет заимствований из других языков, навязывания иноязычной лексики через печать, радио, телевидение.

Вот и мы, объявив перестройку, вступили в демократическую эпоху развития под оркестр новой политической терминологии — президент, парламент, консенсус, презентация, альтернатива, референдум, брифинг... И как аборигены, с радостью и покорностью вводим в свой обиход, примеряем, словно стеклянные бусы на себя, дешевый товар бойких колонизаторов — новые слова, стыдливо избегая своих, хорошо знакомых, привычных. И все

это на самом высоком государственном уровне, массовыми тиражами, часами трансляций из самого сердца государства.

Собственно, споры о том, каковы должны быть темпы обновления языка, как сохранить его богатства от неоправданных потерь — велись давно, изредка ведутся и сейчас, вероятно, не утихнут они и в будущем. Тут важно найти ту золотую середину, когда новые речения не отставали бы от течения жизни, но и в то же время не вытесняли б тех слов, которые всем хорошо известны и не утратили еще своих информационных и стилистических свойств.

Кроме того, долго работающее в языке слово является и связующим звеном в диалоге поколений. Если язык будет быстро меняться, то может случиться так, что родители и дети будут разговаривать на совершенно разных наречиях, с трудом понимая друг друга.

И Даль в искреннем желании вернуть языку народные основы, точность, изобразительную яркость впадал в крайности — правда, другого рода,— вызывая на себя критические стрелы. Однажды он пытался убедить Жуковского в преимуществах народного способа выражения перед книжным, приводя следующие примеры: «Казак седлал лошадь как можно поспешнее, взял товарища своего, у которого не было верховой лошади, к себе на круп и следовал за неприятелем, имея его всегда в виду, чтобы при благоприятных обстоятельствах на него напасть»; на народном языке то же самое выглядит следующим образом: «Казак седлал уторопь, посадил бесконного товарища на забедры и следил неприятеля в назерку, чтобы при спопутности на него ударить».

Жуковский не согласился с Далем, заметив, что во втором случае он будет понятен лишь казакам, да и то не всем. Подобные переводы — очевидное насилие над языком, и Даль понял это не сразу. Логика его стремлений понятна и объяснима. Вот если б развитие языка происходило по той же схеме... Несколько позднее Даль смягчает свою позицию, характеризует свой Словарь как собрание материалов, из которых писатель вправе черпать то, что ему необходимо для творчества,— выбор за ним.

За свой Словарь Даль удостоился Ломоносовской премии Академии наук и звания почетного академика, Этнографическое

отделение Русского Географического Общества присудило ему золотую Константиновскую медаль, отметил его труд и Дерптский университет, где автор когда-то учился на медицинском факультете.

Несколько слов следует сказать об истории с избранием Даля в почетные академики, так как она довольно убедительно характеризует нравственную обстановку в научной среде того времени. После выхода в свет Словаря вопрос об избрании составителя академиком возникал неоднократно, однако этому препятствовало его постоянное пребывание в Москве, а по тогдашнему уставу Академии ее действительные члены должны были непременно жить в Петербурге. Ограничивал устав и количественный состав Академии. Возникшие препятствия носили вроде бы формальный характер, нисколько не умаляющие заслуг Даля, дело тем не менее не двигалось. И вот для выхода из тупика академик М. П. Погодин предложил коллегам неожиданный ход: «Словарь Даля кончен. Теперь Русская Академия наук без Даля немыслима. Но вакантных мест ординарного академика нет. Предлагаю: всем нам, академикам, бросить жребий, кому выйти из академии вон, и упразднившееся место предоставить Далю. Выбывший займет первую, какая откроется, вакансию».

Для поколений второй половины XX столетия Далев Словарь — книга Руси, по сути, уже ушедшей, и, видимо, ушедшей безвозвратно. Но утраты эти, тянущиеся бесконечным печальным мартирологом через все четыре тома, убедительно опровергают насаждавшиеся долгие годы представления о нашем прошлом как сплошь «темном царстве», пристанище лени, пьяни и рвани. Если б все было именно так, то, убежден, не собрать бы Далю такого богатейшего словарного свода, рассказывающего сегодня нам о разнообразном и неповторимом предметном и духовном мире русского человека, его характере, мечтах о счастливой доле, свободе, о любви к земле и вере в созидательные силы человека...

Новейшая же наша история — это история потерь и разочарований, ибо приобретения не равноценны утратам, наши завоевания не улучшили жизни народа, не сделали его свободным даже в личной жизни, несмотря на прекрасные лозунги, под которыми

собирались силы для переустройства России. Мечта Достоевского о «всемирности» русских в результате опрометчивых социальных экспериментов выродилась в стандартизированную одинаковость, безликость целого народа, утратившего духовное лидерство в мире...

Много мыслей навевает Словарь. По нему, как по камертону, мы можем судить о степени разрушения современного русского языка, удручающей его скудости на фоне несметных богатств, предлагаемых Словарем; он дает нам представление об исчезновении многих национальных особенностей народа, что неизбежно приближает нас к тому опасному порогу, за которым начинается вырождение нации; наводит на горькие мысли о серьезном обмелении духовной жизни, следствием которой стала нравственная деградация современного человека, его одичание, рост агрессивности, преступности...

В 1838 году Даль становится членом-корреспондентом Академии наук за создание ценных коллекций по флоре и фауне Оренбургского края, который хорошо изучил за время службы чиновником особых поручений при военном губернаторе В. А. Перовском. «Не пользуясь достаточным ученым образованием, чтобы отличиться в какой-либо отрасли наук самостоятельными трудами, я сочту себя счастливым, если буду в состоянии способствовать сколько-нибудь ученым исследователям доставлением запасов или предметов для их общеполезных занятий»,— писал он ученым мужам, хотя его уже знали как литератора. Первый его биограф Мельников-Печерский писал: «Я не знал человека скромнее и нечестолюбивее Даля». И действительно, он был ярчайшим примером бескорыстия — более тысячи народных сказок, записанных в разное время, передал Владимир Иванович Афанасьеву, собранные песни — П. Киреевскому, лубочные картины — Публичной библиотеке, пытался передать Академии собранные им слова...

Пушкин и Даль. Эти имена не случайно поставлены рядом. Несколько личных встреч сами по себе еще мало что объясняют, разве что биографам, и далеко не исчерпывают значения их творческого союза, той огромной внутренней работы над языком, давшей нам его современный вариант. Можно сказать, имевшему-

ся потенциалу языка они придали характер и направление развития. Их предшественники выращивали драгоценный кристалл, на их же долю выпали его отделка и гранение.

Материал же был весьма благодатный, хотя и слабо оформленный, ум и чувства не одного поколения потрудились, его создавая. Не желая быть заподозренным в неумеренном славянолюбии, сошлюсь на мнения нейтральных в данном случае авторитетов.

Англичанин Джером Горсей, автор «Писем к лорду Берлею о России» и других сочинений о Московии, в которой он подолгу живал в конце XVI века, утверждал, что русский — «самый богатый и изящный язык в мире».

Опровергал в XVIII веке в Германии мнение о «жесткости и неуклюжести» русского языка И. К. Рюдигер. Он доказывал, что в отличие от «трескучего верхненемецкого» русский «очень мягок, благозвучен и так богат гласными, как вряд ли итальянский». Будучи «богаче и пластичней немецкого», русский делает возможным «живейшее выражение чувств».

В следующем веке другой немец, Варнгаген фон Энзе, писал: «Русский язык, несомненно, самый богатый и могучий из славянских, смело может помериться силами с самыми развитыми языками сегодняшней Европы. По богатству слов он превосходит романские, по богатству форм — германские... В том и другом отношении он способен к прогрессивному развитию, границы которого еще нельзя предвидеть».

«Богатый, звучный, живой, отличающийся гибкостью ударений и бесконечно разнообразный в звукоподражаниях, способный к передаче тончайших оттенков, наделенный, подобно греческому, почти безграничной творческой мощью, русский язык кажется нам созданным для поэзии»,— писал в прошлом веке в статье о Пушкине Проспер Мериме. «Говорит — словно поет»,— восхищался он русским народом.

Австрийский поэт Райнер-Мария Рильке называл русский «прекрасным, незабываемым языком», восторгался «Словом о полку Игореве» и русской классикой XIX века: «Что за удовольствие читать стихи Лермонтова или прозу Толстого в оригинале. Как я наслаждаюсь этим...» Родным для Рильке был немецкий,

но вот что он писал о нем: «Он воспринимается мною как наиболее подходящий для меня прекрасный материал (и насколько прекрасный: может быть, только владение русским языком дало бы еще большую гамму, еще более широкие контрасты выражения!)»

«Скоро новое поколение англичан проникнется сознанием, что в современной Восточной Европе есть язык... гораздо богаче латинского и достойный нашего внимания еще и потому, что это язык великой нации, которой в будущем суждено занять доминирующее положение в политическом мире»,— предсказывал в начале нашего века бельгийский лингвист Шарль Саролеа.

Вот некоторые из суждений о нашем языке, высказанные в разное время, на разных этапах его развития. Все они сходятся в высокой оценке русского языка и как средства общения, и как способа передачи тончайших эстетических материй, чувств, переживаний. Отмечается также, что это корневое свойство языка достаточно точно отражает характер говорящего на нем народа.

С творчества Пушкина принято отсчитывать время рождения *современного русского языка*. Чтобы наглядно представить себе разницу между ним и его предшественником, достаточно сравнить наши усилия при чтении, скажем, сочинений Тредиаковского, Ломоносова и произведений Пушкина, Лермонтова, Гоголя.

Вот два небольших примера, взятые из сочинений Ломоносова. «Народ российский, по великому пространству обитающий, невзирая на дальное расстояние, говорит повсюду вразумительным друг другу языком в городах и селах. Напротив того, в некоторых других государствах, например в Германии, баварский крестьянин мало разумеет мекленбургского или бранденбургского, швабского, хотя все того же немецкого народа». И еще: «Российский язык от владения Владимирова до нынешнего веку, больше семи сот лет, не столько отменился, чтобы старого разуметь не можно было: не так как многие народы, не учась, не разумеют языка, которым предки их за четыреста лет писали, ради великой его перемены, случившейся через то время».

Да, по нынешним представлениям, несколько громоздко син-

таксически, архаично по лексике, но все же понятно по смыслу. Наши впечатления похожи на ощущения детей века электронно-ракетной техники, оценивающих эпоху воздушных шаров. То есть нужно иметь в виду, что мы смотрим на юность литературного языка «через головы» Шолохова, Толстого, Достоевского, Гоголя, Лермонтова, Пушкина.

Итак, язык, на котором мы говорим сегодня, берет начало в пушкинской эпохе. Но и Даль жил и работал в это же время. Он всего лишь на два года моложе Александра Сергеевича, они люди одного поколения, у них много общего в мыслях о судьбе родного языка. Характерами и внешне они — полная противоположность, да и литературные дарования их вряд ли сопоставимы. Однако сближает их духовное подвижничество.

Первым до Пушкина старался упорядочить речевой хаос из церковнославянизмов, иноязычных заимствований, русского языка, просторечия — Ломоносов. Его теория трех стилей, «Российская грамматика» и другие труды подготовили почву для создания единого русского литературного языка. «С Ломоносова,— писал Белинский,— начинается наша литература; он был ее отцом и пестуном; он был ее Петром Великим».

Полемика Карамзина с Шишковым принципиальных изменений в язык не принесла, хотя карамзинский «новый слог» все же ближе народному строю мыслей, чем слог других предшественников Пушкина.

Русская словесность была накануне качественных изменений. Взлет национального самосознания победившего в Отечественной войне 1812 года народа требовал новых средств выражения. Необходимость пересмотра многих канонов ощутимо витала в воздухе. Ф. Глинка писал: «Имя Отечества нашего сияет славою немерцающею, а язык его безмолвствует!.. Мы русские, а говорим не по-русски!..» С надеждой о великом будущем языка говорил В. Кюхельбекер, с тем же чувством А. Бестужев вглядывался в «новое поколение людей», которое уже начинало «чувствовать прелесть языка родного и в себе силу образовать его».

И первыми обнаружили эти силы Пушкин и Даль.

Творческие пути их, такие разные, несравнимые и вместе с тем общие, все время пролегали где-то рядом, изредка пере-

секаясь, как бы в подтверждеиие общиости духовных интересов, единомыслия и единой ответственности за отечественную словесность. Только соразмерно отпущеииому талаиту одни был «зодчий», другой — «подносчик» ему.

Отдавая даиь своим предшественнннкам, Пушкин в «Путешествии из Москвы в Петербург» как бы подводит итог нх усилиям по совершенствованию русского языка. Его суждеиия продуманы и взвешены, за чеканными оцеиками сделанного до него чувствуется уверенность человека, поинмающего, что отиыне груз ответственности лег иа его плечи.

«Ломоиосов был велнкий человек. Между Петром н Екатериной II он один является самобытным сподвижником просвещеиия. Он создал первый уинверситет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом. Но в сем уннверситете профессор поэзии и элоквенции ие что иное, как исправный чниовиик, а не поэт, вдохиовениый свыше, не оратор, мощно увлекающийся. Однообразиые и стесиительные формы, в кон он отливал свои мысли, дают его прозе ход утомительный н тяжелый. Эта схоластическая величавость, полусловеиская, полулатинская, сделалась было иеобходнмостию; к счастию, Карамзии освободил язык от чуждого нга и возвратил ему свободу, обратив его к живым источникам народного слова... Высокопарность, изысканность, отвращение от простоты и точности, отсутствие всякой народностн и оригинальности — вот следы, оставлениые Ломоносовым...»

Сказано это в 1834 году, когда Пушкин уже хорошо понимал исчерпанность проводимых до него реформ языка. Когда-то прогрессивные, теперь, в XIX веке, онн заметно тяготили словесность несоответствием формы духовному содержанию века, ее очевидной условностью, все более сдерживающей н развитие мысли. Высоко ценя личность Ломоносова как ученого, человека выдающегося, уинверсального таланта, Пушкин судил его литературное творчество уже с позиций другого века. Вот это понимаиие новых задач языка н лнтературы и сказалось в характеристике велнчайшего «сподвижника просвещення».

Нам же надо помиить, что слогом Ломоносова изъясняли́сь образованнейшие люди той эпохи, что сам Михайло Васильевич как мог для своего времени совершенствовал н упорядочивал

язык. Однако до пушкинской зрелости его было еще более полувека. До Пушкина над ним потрудятся Чулков, Новиков, Фонвизин, Радищев, Крылов, Карамзин... В Пушкине же сошлись все усилия его предшественников и современников. «В нем, как будто в лексиконе, заключилось все богатство, сила и гибкость нашего языка,— напишет потом Гоголь.— Он более всех, он далее раздвинул ему границы и более показал все его пространство».

Действительно, у Пушкина наш язык будто освободился от пут, вериг, мешающих ему выразить огромный духовный опыт народа во всей его глубине, страданиях и обретениях. Уста простого люда, может быть, впервые по-настоящему разомкнулись в творчестве поэта, и он заговорил просто, естественно, без вычурностей, манерности и многословия. «Пушкин не пренебрегал ни единым словом русским и умел, часто взявши самое простонародное слово из уст черни, оправлять его так в стихе своем, что оно теряло свою грубость. В этом отношении он сходствует с Дантом, Шекспиром, с нашим Ломоносовым и Державиным» (С. Шевырев). Сказанное в равной степени относится и к прозе поэта.

Пушкин раздвинул пространство языка, Даль, по крупицам собирая словарные богатства, готовил его золотое обеспечение. Первый внес в язык народный говор, разрушив искусственные перегородки условностей и схематизм классических стилей XVIII века. Второй убеждал всех, что язык рождается исключительно в недрах народного бытия, горячо ратовал за его изучение «во всех его видах и в полном богатстве». Незнанием языка объяснял Даль всевозможные хулы в его адрес: «Если мы изучим свой народный язык... если усвоим себе дух его, свыкнемся и обживемся с ним, тогда, может быть, понятия наши о нем изменятся и мы вынуждены будем сознаться, что все жалобы наши были наклепом невежества, для которого и самый язык оставался немым».

В предпушкинской традиции слово выступало как нечто самоценное, и если ему недоставало собственной красочности, к нему цепляли «нарядные» довески описательного красноречия, всевозможные фигуральности, заметно утяжеляющие слог в

ущерб даже самой мысли. Известный советский литературовед Д. Благой писал: «Одним из основных художественных недочетов всей нашей литературы XVIII века была экстенсивность формы — несоответствие поэтической мысли и огромного количества художественно-словесного материала, затраченного на ее выражение».

Пушкин возвел в принцип литературы «точность и краткость» и сам следовал этому принципу всю жизнь. Если посмотреть его отзывы о других писателях, то найдем, что идиллии Дельвига он ценил за то, что в них нет «ничего запутанного, темного» и «неестественного в чувствах», многие произведения Баратынского — за «ясность», «стройность» и «простоту», отсутствие «натянутостей» и «преувеличений»; Вяземского же товарищески журил иногда за «умничанье».

Мерилом истинно прекрасного в словесности становится с годами для Пушкина «прелесть нагой простоты»: «Мы не только еще не подумали приблизить поэтический слог к благородной простоте, но и прозе стараемся придать напыщенность».

Сказанное поэт относил и к себе, ибо смолоду тоже грешил многословием в духе XVIII века. Правда, ему довольно скоро удалось избавиться от этого, как он считал, недостатка. Не случайно Я. Толстой в поэтическом обращении к Пушкину просил:

В моих строфах излишество слога
Резцом своим ты отколи...
Давно в вражде ты с педантизмом
И с пустословием в войне;
Так научи ж, как с лаконизмом
Ловчее подружиться мне...

А вот что писал Проспер Мериме в статье «Александр Пушкин»: «Многие поэты принимают за мысли смутные образы и, стремясь к их утонченности, делают свою поэзию малопонятной... Необыкновенные качества русского языка — косвенная причина недостатка, частого у авторов, виртуозно им владеющих. Легкость, с которой они могут выразить мельчайшие подробности и почти неуловимые оттенки, приводит их иногда к кокетливому и жеманному изяществу... Пушкин никогда ему не поддавался... Его

трезвость, такт в отборе основного в сюжете, умение жертвовать лишними подробностями были бы оценены в литературе любой страны, но особенно важны эти качества для русского писателя».

Здесь можно усмотреть намек на подражателей стилистики Карамзина, с ее обилием метафор, перифраз и прочих «фигуральностей», на что досадовал Пушкин: «никогда не скажут «дружба», не прибавя — «сие священное чувство, коего благородный пламень и пр.», почитая «за низость изъяснить просто вещи самые обыкновенные». А «рано поутру» превратят в витиеватое «едва первые лучи восходящего солнца озарили восточные края лазурного неба»...

«Да говори просто — ты довольно умен для этого»,— призывает Пушкин на полях статьи Вяземского (помета напротив следующего выражения: «...более или менее ознаменовано общей печатию отвержения, наложенного на наш театр рукою Талии и Мельпомены»). И еще: «любовь к друзьям» — по-русски «дружба». А «Поглотила бы его бездна забвения» надо бы заменить на «И совсем его забыли»...

«Что касается до слога, то чем он проще, тем будет лучше. Главное: истина, искренность»,— напутствовал Пушкин Надежду Дурову, когда та решила сесть за мемуары «Записки амазонки». Он же о названии: «Как-то слишком изыскано, манерно, напоминает немецкие романы. «Записки Н. А. Дуровой» — просто, искренне и благородно».

О влиянии французской литературы на русскую: «Вредные последствия — манерность, робость, бледность... Но есть у нас свой язык: смелее! — обычаи, история, песни, сказки — и проч.».

И у Даля была неудовлетворенность состоянием современного ему языка. Он пишет, что, как помнит себя, «его тревожила и смущала несообразность письменного языка нашего с устною речью простого русского человека». Он, как и Пушкин, чувствовал, что «общее стремление берет иное направление», что «переворот предстоит ныне нашему языку».

...Убежден, что судьбы Пушкина и Даля не могли не пересечься и в трагические дни одного из них, они не могли рас-

статься не повидавшись, без завещания одного другому их общего дела. Поэтому их последняя встреча в этом смысле, может быть, самая значительная.

«Мне было пригрезилось,— шептал Далю ослабевший от раны поэт,— что я с тобой лезу по этим книгам и полкам высоко — и голова закружилась»... В эту последнюю их встречу он обратился к Далю на «ты», назвал другом...

Всего же за несколько дней до гибели сетовал Далю:

«Да, вот мы пишем, зовемся тоже писателями, а половины русских слов не знаем!..» Известный Пушкину шеститомный «Словарь Академии Российской» содержал более 43 тысяч слов; в Словарь Даля вошло примерно в десять раз больше слов, чем использовал Пушкин в своем творчестве (более 21 тысячи). А у него, пожалуй, самый богатый писательский словарь в мире (для сравнения: Гомер — около 9 тысяч, Шекспир — около 15 тысяч, Сервантес — около 17 тысяч, Шевченко — около 10 тысяч, Есенин — около 19 тысяч...).

Несомненно, не без влияния Пушкина Даль укрепился в своем намерении и далее собирать слова и речения, пословицы и поговорки, песни и сказки. Первая их встреча произошла в 1832 году в Петербурге, куда Даль приехал после турецкого и польского походов. Не дождавшись обещанного Жуковским визита к Александру Сергеевичу, Даль сам, взяв свою только что вышедшую книжку сказок, отправился к поэту.

«Пушкин, по обыкновенню своему, засыпал меня множеством отрывчатых замечаний, которые все шли к делу, показывали глубокое чувство истины и выражали то, что, казалось, у всякого из нас на уме вертится и только что с языка не срывается. «Сказка сказкой,— говорил он,— а язык наш сам по себе, и ему-то нигде нельзя дать этого русского раздолья, как в сказке. А как это сделать,— надо бы сделать, чтобы выучиться говорить по-русски и не в сказке... Да нет, трудно, нельзя еще! А что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей! Что за золото! А не дается в руки, нет!»

Собственно, мысли эти были близки Далю, и упали они на благодатную почву. Собирание слов не только получило поддерж-

ку, но и приобрело дополнительный смысл — использовать это богатство в литературном творчестве. Не о том ли думал и сам Пушкин?

Даль был заметным писателем своего времени. Его имя не раз встречается в литературных обзорах в ряду других имен — Некрасова, Соллогуба, Одоевского, Лажечникова, Ершова, Панаева, Кольцова... О нем писали Гоголь, Добролюбов, Григорович, Грот, Майков, Мельников-Печерский, Пущин, Шевченко, Тургенев... Белинский писал рецензии на его произведения.

Белинский не принимал сказок Даля, как, впрочем, не принимал и сказок Пушкина и Ершова. В рецензии на «Конька-Горбунка» в «Молве» (1835 г.) он отстаивает «естественную простоту» народного творчества, предостерегая писателей от каких бы то ни было подделок под народность. «Эти сказки созданы народом: итак, ваше дело списать их как можно вернее под диктовку народа, а не подновлять и не переделывать. Вы никогда не сочините своей народной сказки, ибо для этого вам надо было, так сказать, омужичиться, забыть, что вы барин, что вы учились и грамматике, и логике, и истории, и философии, забыть всех поэтов, отечественных и иностранных, читанных вами, словом, переродиться совершенно; иначе вашему созданию, по необходимости, будет недоставать этой неподдельной наивности ума, не просвещенного наукой, этого лукавого простодушия, которыми отличаются народные русские сказки. Как бы внимательно ни прислушивались вы к эху русских сказок, как бы тщательно ни подделывались под их тон и лад и как бы звучны ни были ваши стихи, подделка всегда останется подделкою, из-за зипуна всегда будет виднется ваш фрак. В вашей сказке будут русские слова, но не будет русского духа, и потому, несмотря на мастерскую отделку и звучность стиха, она нагонит одну скуку и зевоту. Вот почему сказки Пушкина, несмотря на всю прелесть стиха, не имели ни малейшего успеха. О сказке г. Ершова — нечего и говорить».

В следующем номере «Москвы» Белинский рецензирует «Были и небылицы Казака Луганского». Высказав уже свое отношение к литературной сказке, к попыткам обработки ее, критик не церемонится с оценками: «Сколько шуму произвело появление Ка-

зака Луганского! Думали, что это и невесть что такое, между тем как это ровно ничего; думали, что это необыкновенный художник, которому суждено создать народную литературу, между тем как это просто балагур, иногда довольно забавный, иногда слишком скучный, нередко уморительно веселый и часто приторно натянутый. Вся его гениальность состоит в том, что он умеет кстати употреблять выражения, взятые из русских сказок; но творчества у него нет и не бывало; ибо уже одна его замашка переделывать на свой лад народные сказки достаточно доказывает, что искусство не его дело... Казак Луганский забавный балагур!...»

Суждения по-юношески резкие, в чем-то противоречивые, но основанные на четкой позиции, которой он не уступит, хотя со временем и смягчит многие оценки таланта и творчества Даля. Правда, и Даль как писатель не будет стоять на месте, он напишет повести и рассказы, которые не только восхитят почитателей его таланта, но и строгого Белинского заставят высказаться в восторженном порыве: «После Гоголя это до сих пор решительно первый талант в русской литературе». Что ж, великий критик и увлекался, и ошибался, и был не чужд крайностей.

А между этими крайними оценками были и более взвешенные мнения. Обозревая текущую журнальную периодику в «Московском наблюдателе» (№ 3, 1839 г.), он сообщает читателю, что прочел «с удовольствием «Два рассказа, или Болгарка и подолянка», очень милый, но несколько растянутый рассказ В. Луганского». В следующем номере того же издания, продолжая обзор, Белинский пишет о повести Даля «Бедовик»: «Это, по нашему мнению, лучшее произведение талантливого Казака Луганского. В нем так много человечности, доброты, юмора, знания человеческого и, преимущественно, русского сердца, такая самобытность, оригинальность, игривость, увлекательность, такой сильный интерес, что мы не читали, а пожирали эту чудесную повесть. Характер героя ее — чудо, но не везде, как кажется нам, выдержан; но солдат Власов и его отношения к герою повести — это просто роскошь».

Достаточно высоко оценивая повесть, Белинский все же ограничился эмоциональной аргументацией, тем общим впечатлением,

которое у него осталось после ее прочтения. Однако нельзя не заметить, что в этом произведении (как, впрочем, и в других) герой, обдумывая свою жизнь, преследующие его неудачи, выходит на философские обобщения о человеке и мире, о судьбе и ее предопределенности для каждого смертного.

«Судьба,— подумал он,— это одно пустое слово. Что такое судьба? В зверинце этом, на земле, все предварительно устроено и приспособлено для содержания нашего; потом мы пущены туда, и всякий бредет куда глаза глядят, и всякий городит и пригораживает свои избы, палаты, чердаки и землянки, капканы, ловушки, верши и учуги, роет ямки, плетет плетни, где кому и как вздумается. Кто куда забредет, тот туда и попадет. Мир наш — часы, мельница, пожалуй, паровая машина, которая пущена в ход и идет себе своим чередом, своим порядком, не думает, не гадает, не соображает, не относит действий своих к людям и животным, а делает свое, хоть попадайся ей под колесы и полозья, хоть нет; а кто сдуру подскочил под коромысло, того тяп по голове, и дух вон. Коромысло этому не виновато, у него ни ума, ни глаз; оно ходило и ходит взад и вперед, прежде и после, и ему нет нужды ни до живых, ни до убитого...»

Вроде бы все просто — отойди в сторону и не подставляй затылка коромыслу «и все это пойдет тем же чередом и порядочком, да только не по моей голове». Ну а если «и коромысло, и вся махина — невидимка»? Значит ли это, что герою на роду суждено, куда бы он ни кинулся, всегда попадать «на шестерню, на маховое колесо, под рычаг, на запоры и затворы или волчьи ямы»?

Евсей Лиров не знает ответа на этот вопрос. Собственно, а кто знает? Но он, не желая оставлять вопрос открытым, приходит к следующему умозаключению: «Я просто бедовик; толкуй всяк слово это как хочет и может, а я его понимаю. И как не понимать, коли оно изобретено мною и, по-видимому, для меня? Да, этим словом, могу сказать, обогатил я русский язык, истолковав на деле и самое значение его!»

Что верно, то верно. Заглянув в Словарь Даля, обнаружим: БЕДОВИК, БЕДОНОША — кто век ходит по бедам. Евсей Лиров как раз из этих, один из потомков его — Семен Пантелеевич Епи-

ходов, «двадцать два несчастья» — появится в «Вишневом саде» Чехова.

Если в «Бедовике» Даль выписал интересный характер, то в «Вакхе Сидорове Чайкине» он портретирует уже губернское общество, в котором угадываются, впрочем, черты общероссийские. Однако выявление и осмеяние пороков у Даля уравновешивается позитивным началом характера главного героя, человека честного, благородного, не лишенного гражданской жилки, а главное — конструктивных идей. Правда, идеи эти направлены не на переустройство несправедливого мира, а главным образом на противостояние неправде, сохранению собственного достоинства и чести.

Эти две повести и написанная несколько ранее «Цыганка» заставили говорить о Дале как о серьезном писателе. Белинский в «Отечественных записках» (№ 4 1841 г.), рецензируя сборник повестей и рассказов Соллогуба «На сон грядущий», высказывает мысль, что русская литература отнюдь не бедна хорошими произведениями, что не худо бы собрать лучшие из них, рассеянные по журналам в одну книгу, в которую он рекомендует повести: «Пушкина, Гоголя, Лермонтова, князя Одоевского, графа Соллогуба, Даля, Павлова, псевдонима А. Н. Панаева, Гребенки и других». Подобное издание, по убеждению Белинского, «имело бы успех в России и послужило бы пособием для иностранцев». В том же журнале (№ 1, 1843 г.) в рецензии на второй том сборника «Сказка за сказкой» критик высоко отзывается о повести Даля «Савелий Граб, или Двойник», которая «отличается, как все повести этого даровитого писателя, прекрасными подробностями, обличающими в авторе многостороннюю опытность, б ы в а л о с т ь, если можно так выразиться, наблюдательность и наглядность... Он жизнию приобрел себе талант, и талант,— кто не согласится в этом,— примечательный... Повесть Казака Луганского очень интересна: в рассказе много истины и юмора, в отступлениях и рассуждениях много ума и оригинальности. Даже самые странности и парадоксы автора носят на себе отпечаток такой достолюбезности, что доставляют в чтении и удовольствие». И далее он присоединяется к мнению героя (и автора), считающего, что «чистый неискаженный русский язык сохранился толь-

ко в простом народе». Развивая эту мысль, критик пишет: «Действительно, для выражения простонародных идей, немногочисленных предметов и потребностей ограниченного простонародного быта простонародный язык гораздо обильнее, гибче, живописнее и сильнее, чем язык литературный для выражения всего разнообразия и всех оттенков идей образованного общества. И это понятно: простонародный русский язык сложился и установился в продолжение многих веков; литературный — в продолжение одного века; первый, раз установившись, уже не двигался вперед, как и мысль простого народа; второй — бежит, не останавливаясь, не переводя духу, вследствие беспрерывного вторжения новых понятий и безостановочного развития, а следственно, и движения старых идей».

Ровно через год в том же издании критик подтверждает свое мнение о даровитости писателя, найдя возможным похвалить и повесть «Вакх Сидоров Чайкин» — «одна из лучших повестей Казака Луганского, исполненная интереса и верно схваченных черт русского быта», найдя в другой его вещи — «Хмель, сон и явь» — «достоинство психологического портрета русского человека, мастерски схваченного с натуры».

Высокую оценку творчеству писателя дает критик и в обзоре «Русская литература в 1844 году» («Отечественные записки», № 1, 1845 г.): «Колбасники и бородачи» — решительно лучшее произведение г. Луганского. Несмотря на чисто практическую и внешнюю цель этой повести, в ней есть подробности истинно художественные, есть черты купеческого быта, схваченные с изумительной верностью...» Тут же через несколько номеров Белинский рецензирует сборник «Физиология Петербурга», выделяя в книге две лучшие статьи — «Петербургский дворник» В. И. Луганского и «Петербургские углы» г. Некрасова. Первая есть мастерский очерк, сделанный художническою рукою, одного из оригинальнейших явлений петербургской жизни, лица мало известного в Москве и совсем не известного в провинции. Это одно из лучших произведений В. И. Луганского, который так хорошо знает русский народ и так верно схватывает иногда самые характеристические его черты».

И после этой характеристики критик дает пространную цита-

ту из очерка, подводя итог следующими словами: «Как все это верно, каким добродушным и грациозным проникнуто юмором! Кстати: читали ли вы «Денщика» В. И. Луганского? Это прелесть!»

По выходе второй части «Физиологии Петербурга» Белинский подтверждает свою высокую оценку очерков «Дворник» и «Петербургские углы», которые, по его мнению, «могли бы украсить собою всякое издание».

Как видим, взгляд Белинского на Даля-писателя существенно менялся, критик постоянно уточнял природу таланта Казака Луганского, его сильные и слабые стороны и к концу жизни уже не скрывал своих симпатий к нему. В традиционном обзоре русской литературы за 1845 год он, перечисляя все, что было замечательного по части изящной прозы, оригинальной и переводной в русских журналах за минувший год, особо выделяет и указывает читателю «на «Денщика» В. И. Луганского, как на одно из *капитальных* произведений русской литературы». И тут он дает ему, может быть, самую высокую оценку как писателю: «В. И. Луганский создал себе особенный род поэзии, в котором у него нет соперников. Этот род можно назвать *физиологическим*. Повесть с завязкою и развязкою — не в таланте В. И. Луганского, и все его попытки в этом роде замечательны только частностями, отдельными местами, но не целым. В физиологических же очерках лиц разных сословий он — истинный поэт, потому что умеет лицо типическое сделать представителем сословия, возвести его в идеал, не в пошлом и глупом значении этого слова, то есть не в смысле украшения действительности, а в истинном его смысле — воспроизведения действительности во всей ее истине. «Колбасники и бородачи», «Дворник» и «Денщик» — образцовые произведения в своем роде, тайну которого так глубоко постиг В. И. Луганский. После Гоголя это до сих пор решительно первый талант в русской литературе».

В одной из последних развернутых рецензий на книгу Даля «Повести, сказки и рассказы Казака Луганского», четыре части, (Спб. 1846) Белинский пишет: «Вглядываясь в произведения самобытного таланта, всегда находите в них признаки сильной наклонности, иногда даже страсти к чему-нибудь одному, и по

тому самому такой талант становится для вас истолкователем овладевшего им предмета. Он делает его для вас доступным и ясным, рождает в вас к нему симпатию и охоту знать его. К числу таких-то талантов принадлежит талант г. Даля, прославившегося в нашей литературе под именем Казака Луганского».

И далее он пытается объяснить особенности таланта писателя, ответить на вопрос, в чем заключается господствующая наклонность, симпатия, любовь, страсть его таланта. И тут же отвечает: «Заключается все это у него в русском человеке, русском быте, словом — в мире русской жизни. Но что ж тут оригинального — скажут нам — мало ли людей, которые не меньше г. Даля и всякого другого любят Русь и все русское?.. Отвечаем: очень может быть; но мы говорим о г. Дале, как о человеке, который самым делом показал и доказал эту любовь, как писатель. Ведь легко писать возгласы, исполненные хвалы России и ненависти ко всему нерусскому; но это еще не значит любить Русь и все русское. Другой и действительно любит их, да нет у него достаточно таланта, чтобы любовь его отразилась в мертвой букве и зажгла ее теплом и светом жизни... Любовь г. Даля к русскому человеку — не чувство, не отвлеченная мысль: нет! это любовь деятельная, практическая. Не знаем, потому ли знает он Русь, что любит ее, или потому любит ее, что знает; но знаем, что он не только любит ее, но и знает. К особенности его любви к Руси принадлежит то, что он любит ее в корню, в самом стержне, основании ее, ибо он любит простого русского человека, на обиходном языке нашем называемого крестьянином и мужиком. И — боже мой! — как хорошо он знает его натуру! Он умеет мыслить его головою, видеть его глазами, говорить его языком. Он знает его добрые и его дурные свойства, знает горе и радость его жизни, знает болезни и лекарства его быта...»

Гению Пушкина дано было понимание любого народа мира. Таланту Даля — глубокое понимание русского народа. Тут сходство и различие, которые примиряются любовью к России, их общему духовному источнику. У них были разные по высоте орбиты, но их притягивала к России вера в ее высокое предназначе-

ние в этом мире. И об этом сказал Достоевский в своей знаменитой речи: «Повсюду у Пушкина слышится вера в русский характер, вера в его духовную мощь, а коль вера, стало быть, и надежда, великая надежда за русского человека».

Строгий Белинский, как мы уже говорили, к концу жизни не только смягчился к Далю, но и весьма высоко оценивал его творчество. В меньшей степени относилось это к сказкам, которых критик в обработанном виде все же не принимал: «Мы, признаемся, не совсем понимаем этот род сочинений. Другое дело — верно записанные под диктовку народа сказки: их собирайте и печатайте, и за это вам спасибо. Но сочинять русские народные сказки или переделывать их — зачем это, а главное — для кого? — Ведь простой народ не прочтет, даже не увидит вашей книги, а для образованных классов общества — что такое ваши сказки?..»

Однако, видя, с каким усердием Даль занимается фольклором, как бережно собирает и бескорыстно раздает народные песни, сказки, пословицы и поговорки, какое огромное значение придает устному народному творчеству, Белинский, похоже, дрогнул: «Но если, прочтя их (сказки.— *П. Т.*), мы не переменили таких мыслей, то значительно смягчили их строгость, по крайней мере в отношении к г. Далю. Он так глубоко проник в склад ума русского человека, до того овладел его языком, что сказки его — настоящие русские народные сказки... Поэтому писать их был для него великий соблазн, и как они многим и теперь нравятся, и мы не обойдем их добрым словом, не попрекнем их рождением, хотя и не пожелаем им дальнейшего размножения...»

Но может быть, более важное в данной рецензии то, что критик признал наконец в Дале художника. «В физиологических очерках своих Даль является уже не просто бывалым, умным, наблюдательным человеком и даровитым литератором, но еще художником... В самом деле, для того чтобы написать «Дворника», «Денщика» и «Колбасники и бородачи», мало наблюдательности и самого строгого изучения действительности: нужен еще элемент творчества. Иначе изображения дворника, денщика и купцов с купчихами и купецкими дочерьми не являлись бы в статьях г. Даля типами, не поражали бы своею живою, внутрен-

нею верностию действительиости, ие врезывалнсь бы иавсегда и так глубоко в памяти того, кто прочел их раз... Их можно не только читать, ио н перечитывать, и каждый раз будут оии казаться все лучше и лучше...

Как бы то ни было, но фнзнологические очеркн г. Даля считаем мы перлами современиой русской лнтературы н желаем и иадеемся, что теперь г. Даль обратит свой богатый и сильный талант преимущественно иа этот род сочниений, не теряя более времени иа сказки, повести и рассказы...»

И иакоиец, упомииаине о творчестве Даля иайдем в письме Боткииу (17.02.1847 г.), которому Белинский советует прочесть в № 2 «Отечествеиных запнсок» повесть Даля «Игривый», в которой критик нашел «превосходиые вещи». И тут же рекомеидует адресату, если тот ие читал: «Колбасиики и бородачи», «Деищик», «Двор», «Двориик», «Небывалое в былом, или Былое в небывалом» — в последней повести он отмечает «дивно-прекрасиые частиости».

Через два дия в письме Тургеневу, еще молодому писателю, критик замечает, что его талаит «одиороден» с талантом Даля. Что ж, в 1847 году у Белинского для такого сравиеиия, возможно, были веские осиоваиия.

Тургенева н Даля сведет вместе ие только отечествениая литература, но и служба в мииистерстве виутреиних дел в «особенной каицелярни» мннистра, которой как раз руководил Владимир Иванович. В автобиографии этому периоду жизни Тургенев посвятил трн строчки: «Поступил в 1842 году в канцелярню министра виутрениих дел под начальство В. И. Даля, служил очень плохо и неисправио и в 1843 году вышел в отставку». Потом по-разиому будут толковать этот эпизод нз бнографни каждого из ннх. Одиако ключ к нему, иа мой взгляд, нужно нскать все же в процитироваииых иами строчках автобнографнн.

Самокритичная оцеика Тургенева, судя по всему, верна еще и потому, что «зла» на Даля не держал, опубликовав в «Отечествеииых запнсках» какое-то время спустя после отставки весьма хвалебную рецензню иа его сборник повестей, сказок и рассказов. В целом его оценка совпадала с мнеиием Белинского, возможно,

не обошлось здесь и без влияния критика. Но вместе с тем нужно учитывать и то, что в этот момент Тургенева и Даля интересовал один и тот же вопрос: судьба русского крестьянина, освобождение его от крепостной зависимости. В министерстве в то время готовили всевозможные проекты на этот счет, и Тургеневу при поступлении на службу поручили написать служебную записку на данный предмет. Так появилась статья «Несколько замечаний о русском хозяйстве и о русском крестьянине». Несколько позднее ему поручается составление записки «Об уничтожении крепостного состояния в России», которая затем была использована при составлении известной «записки Перовского», представленной государю в 1945 году.

В какой-то степени, возможно, это отразилось и в творчестве («Записки охотника»). Во всяком случае, Белинский увидел сходство талантов Тургенева и Даля. Интерес же Тургенева к сборнику Даля по времени совпадает с написанием им очерка «Хорь и Калиныч».

Называя в рецензии Даля народным писателем, Тургенев дает и пояснение этому определению. «В наших глазах, тот заслуживает это название, кто, по особому ли дару природы, вследствие ли многотревожной и разнообразной жизни, как бы вторично сделался русским, проникнулся весь сущностью своего народа, его языком, его бытом. Мы употребляем здесь слово «народный» не в том смысле, в котором оно может быть применено к Пушкину и Гоголю, но в его исключительном, ограниченном значении. Для того чтоб заслужить название народного писателя в этом исключительном значении, нужен не столько личный, своеобразный талант, сколько сочувствие к народу, родственное к нему расположение, нужна наивная и добродушная наблюдательность. В этом отношении никто, решительно никто в русской литературе не может сравниться с г. Далем. Русского человека он знает, как свой карман, как свои пять пальцев».

Как и Белинский, Тургенев ценит в Дале не столько художника, сколько умение писать с натуры. «Г. Далю не всегда удаются его большие повести; связать и распутать узел, представить игру страстей, развить последовательно целый характер — не его дело, по крайней мере тут он не из первых мастеров; но где

рассказ не переходит за черту «физиологии», где автор пишет с натуры, ставит перед вами или брюхача-купца, или русского мужичка на завалинке, дворника, денщика, помещика-угостителя, чиновника средней руки — вы не можете не прийти в упоение...»

В произведениях Даля, отмечает Тургенев, «уже чересчур пахнет русским духом, они слишком исключительно народны». И приходит к очень важному выводу: «В русском человеке таится и зреет зародыш будущих великих дел, великого народного развития...» И, завершая рецензию, он подытоживает сказанное: «Г. Даль уже занял одно из почетнейших мест в нашей литературе...»

Сходную оценку Далю как писателю давал и Гоголь. В письме к Плетневу (1846 г.), редактору «Современника», рекомендуя Даля как одного из авторов, «статьями которых может украситься «Современник», он говорит о нем следующее: «Он не поэт, не владеет искусством вымысла, не имеет даже стремленья производить творческие создания; он видит всюду дело и глядит на всякую вещь с ее дельной стороны. Ум твердый и дельный виден во всяком его слове, а наблюдательность и природная острота вооружают живостью его слово. Все у него правда и взято так, как есть в природе. Ему стоит... взять любой случай, случившийся в русской земле, первое дело, которого производству он был свидетелем и очевидцем, чтобы вышла сама собой занимательнейшая повесть. По мне, он значительней всех повествователей-изобретателей. Может быть, я сужу здесь пристрастно, потому что писатель этот более других угодил личности моего собственного вкуса и своеобразью моих собственных требований: каждая его строчка меня учит и вразумляет, придвигая ближе к познанью русского быта и нашей народной жизни... Его сочинения — живая и верная статистика России. Все, что ни достанет он из своей многовмещающей памяти и что ни расскажет достоверным языком своим, будет драгоценным подарком для твоего альманаха».

В «Авторской исповеди» Гоголь подмечает, что Даль в творчестве руководствуется «желаньем ввести всех в действительное положение русского человека».

Про Даля говорили еще, что он знакомит русских с Русью.

Сочувственно относился к творчеству Даля Н. Некрасов. Несколько иначе видел творчество Даля Чернышевский. Судя по всему, его отвлеченный ум не мог схватить те «изумительные» подробности русской жизни, которые под пером Даля вырастали до художественных высот и обобщений. Мышление утописта, склонное к теоретизированию, умствованию, неизбежно должно разойтись с практикой дотошного собирателя мелочей, черт и черточек из реальной жизни народа. Один складывал картину мира с помощью категорий, другой — из подробностей быта, цвета, запахов, звуков...

Поэтому в суждениях Чернышевского сквозит некоторая раздраженность непонимания: «Рассказы Даля — ни то, ни се; печатать их сряду в двух книжках помногу мало пользы». Это он пишет Некрасову в 1856 году. Чуть позже: «Картины из русского быта» Даля почти все из рук вон плохи, но публика находит, что они недурны». Как мы уже знаем, не только читающая публика считает, что «они недурны». Однако Чернышевский настаивает на своем: «Ровно никакой пользы ни ему, ни его читателям не приносит все его знание. По правде говоря, из его рассказов ни на волос не узнаешь ничего о русском народе, да и в самих-то рассказах не найдешь ни капли народности... Он знает народную жизнь, как опытный петербургский извозчик знает Петербург. «Где Усачев переулок? Где Орловский переулок? Где Клавикордная улица?» Никто из нас этого не знает, а извозчику все это известно как свои пять пальцев... У г. Даля нет и никогда не было никакого определенного смысла в понятиях о народе, или, лучше сказать, не в понятиях (потому что какое же понятие без всякого смысла?), а в груде мелочей, какие запомнились ему из народной жизни».

Из этого складывается впечатление, что Чернышевский не столько оценивал творчество Даля, сколько оспаривал высказанные до него суждения о писателе, часть из которых мы уже процитировали.

Большинство, наверное, все же согласится с более авторитетными в области художественного творчества мнениями Белинского и Гоголя, Тургенева и Некрасова...

* * *

Творческую судьбу Даля можно признать вполне благополучной, несмотря на то, что, как прозаик хвалимый и признанный, он все же больше принадлежит прошлому веку, хотя и причислен к достаточно престижному ряду.

Другое дело — Словарь. Как его автор Даль пережил свое время, пережил, как и Пушкин, Достоевский, Толстой... Время над ними не властно, ибо каждый из них смог выразить дух народа, воссоздать его образ в самых существенных чертах, показать его словотворчество...

Слово, конечно же, один из главных талантов русского человека, к которому Даль и привлек наше внимание. Помните, как о таланте этом в «Мертвых душах» размышлял Гоголь? «Выражается сильно российский народ! и если наградит кого словцом, то... пойдет оно ему в род и потомство, утащит он его с собою и на службу, и в отставку, и в Петербург, и на край света... Произнесенное метко все равно что писанное не вырубливается топором. А уж куда бывает метко все то, что вышло из глубины Руси... И всякий народ, носящий в себе залог сил, полный творящих способностей души, своей яркой особенности и других даров Бога, своеобразно отличился каждый своим собственным словом, которым, выражая какой ни есть предмет, отражает в выражении его часть собственного своего характера. Сердцеведением и мудрым познанием жизни отзовется слово британца; легким щеголем блеснет и разлетится недолговечное слово француза; затейливо придумает свое не всякому доступное, умно-худощавое слово немец; но нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырывалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и живо трепетало, как метко сказанное русское слово».

...На портрете работы В. Перова Даль предстает в пору духовной зрелости, в образе старца, достигшего душевного равновесия и покоя. Художник передал тот неуловимый момент в жизни Даля, когда он как бы застыл между земным бытием и вечностью. Дальнейшая его жизнь — в памяти потомков благодарной России, о которой он сказал свое выстраданное Слово.

Игорь СТРЕЖНЕВ

«СПАСИ МЕНЯ... СОЛОВЕЦКИМ МОНАСТЫРЕМ»

В начале XIX столетия, как, впрочем, и в другие времена, Соловецкий монастырь был местом легендарным. Просвещенный дворянин ведал, что эта обитель на далеком Севере в прежние века содействовала заселению пустынных мест; была центром духовной, религиозной и культурной жизни; была и остается крепостью, сдерживающей внешних врагов и потому заботливо опекаемой правительством.

Шла молва и о пышности каменных соборов, и о поражающей воображение кремлевской стене, сложенной в XVI веке из огромных природных валунов.

Сам Петр Великий дважды спешил на этот чудо-остров.

Но едва ли не главной загадкой острова была монастырская тюрьма, ее таинственные застенки.

История Соловецкой обители по значительности минувших в ней событий уступает разве что истории Троице-Сергиевой лавры.

Но что знал о Соловках Пушкин? Какое они нашли отражение в поисках и творчестве писателя?

На эти, впервые поставленные, вопросы попытаемся ответить...

«СОСЛАТЬ В СОЛОВЕЦКИЙ...»

Эти слова Пушкин запишет в дни ссылки в Михайловском... Пушкину горько, трудно. Его неожиданно и поспешно выслали из Одессы. Впереди, после почти европейского города — прозябание в глухой деревне.

А я от милых южных дам,
От жирных устриц черноморских,
От оперы, от темных лож
И, слава Богу, от вельмож
Уехал в тень лесов Тригорских
В далекий северный уезд.
И был печален мой приезд.

В Михайловском Пушкин встретился с семьей. Но радость встречи была недолгой. Отец испугался положения сына и, опасаясь, что оно может сказаться на его личном благополучии, согласился взять на себя надзор за ним («быть моим шпионом» — как сказал об этом сам поэт). Пошли ссоры. И вот после самой серьезной появились строки письма к Жуковскому от 31 октября 1824 года: «Перед тобой не оправдываюсь. Но чего же он хочет для меня с... своим обвинением? рудников сибирских и лишения чести? спаси меня хоть крепостию, хоть Соловецким монастырем. Не говорю тебе о том, что терпят за меня брат и сестра...»

Написаны эти строки в запальчивости. И Соловки упомянуты — как символ безысходности трудного положения, в кото-

ром оказался поэт. Но вскоре все образовалось. Родители с братом и сестрой уехали на зиму в столицу... и Пушкин остался один.

Но образ Соловков не исчез. В написанной в Михайловском драме «Борис Годунов» патриарх говорит о Григории Отрепьеве: «Поймать, поймать врагоугодника, да и сослать в Соловецкий на вечное поселение».

Вероятно, не столь долгое,— но заключение в Соловки грозило и самому Пушкину весной 1820 года, когда началось преследование его вольнолюбивой лирики[1]. Эта история широко известна, и мы не будем на ней останавливаться. Заступничество приближенных ко двору Н. М. Карамзина, В. А. Жуковского, И. В. Васильчикова и других спасло молодого поэта от Соловков или Сибири, но монаршей волей он оказался в долгой южной, а затем в псковской ссылке.

Неожиданное подтверждение возможного заточения Пушкина на Соловки открылось в нашем столетии.

«Глухой Сольвычегодск был удобным местом для ссылки. В зачарованном городе я нашел необычайное свидетельство о том, что департамент полиции имел намерение заточить сюда в ссылку даже величайшего русского гения — Александра Сергеевича Пушкина...» Эти строки из очерка известного советского писателя С. Н. Маркова «Зачарованные города», опубликованного в альманахе «Север» в первом номере 1936 года.

Будучи в Сольвычегодске, Сергей Николаевич пытался разобраться в этой истории, но вот что он сам пишет об этом: «Еще до революции некий Воскресенский, писец Сольвычегодского уездного полицейского управления, несколько раз заявлял, что в архиве управления хранится необычная переписка. Воскресенский называл эту переписку «делом о Пушкине». Департамент полиции якобы в особой бумаге предписывал полицейским чинам Сольвычегодска приготовиться к прибытию опального поэта. Исправнику предлагалось подыскать для Пушкина квартиру. Далее сообщался порядок надзора за будущим ссыльным.

Сольвычегодский государственный музей в особой записке по

истории местной ссылки высказывается о «деле Пушкина» утвердительио. Из этой записки видио, что переписка о Пушкиие действительио была. Но при возмутительиом отиошеиии к местиым архивам в Сольвычегодске сейчас трудио распутать коицы. Где иаходится или может иаходиться «дело о Пушкиие», иикто не зиает». Так писал С. Н. Марков в 1935 году. С тех пор иичего не измеиилось, иикаких следов «дела о Пушкиие» ие обнаружено. И вдова писателя Галииа Петровиа, отвечая иа наше письмо, посетовала, что Сергею Николаевичу не удалось найти коицов этой истории и в архиве писателя ничего об этом больше нет.

Эта история правдоподобна, ибо Сольвычегодск и ранее и поздиее бывал времеииым пересыльиым пуиктом по пути следования к заточеиию в Соловки. Передерживать в ожидаиии морского пути иа остров в более глухом провиициальиом городишке, иежели в крупиом губериском Архангельске — было жаидармам спокойнее.

Итак, Пушкии в Михайловском вспоминает Соловецкий монастырь, его застенки.

Сегодия трудио сказать, что имеиио ои прочел из литературы своего времеии о севериом архипелаге.

Возможио, это были «Исторические иачатки о двинском иароде древиих, средиих, новых и иовейших времеи, сочинеииые Василием Крестиииым Архаигелогородским Граждаииом. Часть первая. В Саикт-Петербурге, иждивеиием Императорской Академии Наук 1784 года». Другим значительиым источииком было «Описаиие Архаигельской губернии», издаииой в Саикт-Петербурге в 1813 году, где Соловкам даио обшириое описаиие (с. 273—319). Это издаиие было у Пушкииа [2].

И накоиец, широко популярными в иачале столетия были подробиейшие диевииковые записки «Путешествие Академика Иваиа Лепехина», изданные в Петербурге в 1805 году. Пушкин не мог пройти мимо этого яркого явлеиия словесиости того времеии, в четвертой части которого, отражающей путешествие учеиого по Северу России в 1772 году, есть большой очерк о Соловецком архипелаге.

В собраиии киг поэта было три больших тома в солидных кожаиых переплетах «Записок Путешествия Академика Лепе-

хина», изданных в Санкт-Петербурге, при Императорской Академии наук в 1821—1822 годах. Это уже было следующим изданием столь популярных «Записок» Н. И. Лепехина.

Но во всех этих источниках нет ни слова о монастырской тюрьме. Есть удивление, восхищение грандиозностью монастырских построек, есть строки, которые привлекают особое внимание — например, такие: «В сей Монастырь ежегодно из разных городов даже из внутренних собирается для моления от 2-х до 3-х тысяч человек, и всем им во время пребывания их в Монастыре готовая представляется трапеза, без всякого требования платы, и сверх того и при отправлении в обратный путь каждому дают по части хлеба». Это из описания Соловецкого монастыря в книге «Архангельская губерния в хозяйственном, коммерческом, философическом, историческом, топографическом, статистическом, физическом и нравственном обозрении. Сочинение Антона фон-Пошмана, составленное в 1802 году» (том II, с. 48).

Но — ни слова о застенке и узниках. И это понятно. Ибо не только паломники, но и официальные гражданские представители губернского управления, приезжавшие на остров, не имели возможности знакомиться с внутренними порядками монастыря. Церковь в тайне хранила очень выгодное разными милостями доверие монарха, ибо понимала, что это доверие, как и тюрьма в монастырских стенах, компрометируют ее. А Александр I не без ханжества писал: «Ссыльные (соловецкой) обители — не преступники, а несчастные, впавшие только в духовное заблуждение» [3].

И все же современники из разных источников знали о существовании тюрьмы на Соловках. В этом смысле знаменательно и приведенное восклицание Пушкина в письме к Жуковскому. И загадочность Соловков привлекла внимание к ним. Несомненно, что Пушкину и его просвещенным современникам Соловецкий монастырь был интересен и как «родина», как место мужания соловецких настоятелей, а в дальнейшем известнейших в истории России церковных деятелей — митрополита Филиппа Колычева (XVI век) и патриарха Никона (XVII век). Именно при игумене Филиппе в Соловках началось каменное строительство и были возведены шедевры русской архитектуры Успенский и Преобра-

женский соборы; последний был самым высоким зданием на Руси того времени [4].

Патриарх всея Руси Никон известен церковной реформой 1653 года, обратившей православную церковь Русского государства к греческому вероисповеданию. А самым мощным противлением этой реформе было известное Соловецкое восстание 1668—1676 гг.

В книжном собрании Пушкина было издание: «Шушерин Иван. Житие светлейшего патриарха Никона, писанное некоторым бывшим при нем клириком. В Санкт-Петербурге печатано при Императорской Академии Наук 1817 года».

И, вероятно, уместно в связи с тем, что речь идет о прославленном монастыре, привести слова Пушкина «...греческое вероисповедание, отдельное от всех прочих, дает нам особенный национальный характер». И далее — очень важная пушкинская оценка: «В России влияние духовенства столь же было благотворно, сколь пагубно в землях римско-католических. Там оно, признавая главою своего папу, составляло особое общество, независимое от гражданских законов, и вечно полагало суеверные преграды просвещению. У нас напротив того, завися, как и все прочие состояния, от единой власти, но огражденное святыней религии, оно всегда было посредником между народом и государством... Мы обязаны монахам нашей Историею, следственно, и просвещением».

Но вернемся к Соловецким островам. «Живые» впечатления о Беломорье Пушкин мог услышать от брата своего лицейского друга Вильгельма Кюхельбекера — Михаила Карловича Кюхельбекера, который после окончания Морского Кадетского корпуса (1815 г.) служил в Архангельске, был участником морских походов и экспедиции А. П. Лазарева 1819 года. Несомненно, он бывал на Соловках и знал жизнь приполярных островов. Пушкин познакомился с Михаилом, вероятно, еще в Лицее. Встречались они и позднее. Известно, что в 1820 году М. К. Кюхельбекер служил уже в Гвардейском экипаже в Петербурге и они встречались у Рылеева [5].

Упомянем и о знакомстве А. С. Пушкина с архангелогородцем А. Г. Непениным. В дни кишиневской ссылки, в конце декабря

1821 года Пушкин сопровождал в служебной поездке по Молдавии своего приятеля И. П. Липранди. В Аккермане поэт познакомился с полковником, командиром 32-го егерского полка Андреем Григорьевичем Непениным, у которого они остановились. Непенин родился и до двадцати лет жил в Архангельске [6]. Известно, что Пушкин с большим интересом осматривал внушительные бастионы Аккерманской крепости, и вполне логично предположить, что при этом вспоминались и Соловки.

И наконец, А. С. Пушкин читает о Соловках у М. В. Ломоносова в большой незавершенной героической поэме «Петр Великий». В первой песне Ломоносов живописует второй приезд Петра на Соловецкий остров:

Уже на западе Восточными лучами
Открылся освещен с высокими верхами
Пречудных стен округ, из диких камней град...

К сим строгим берегам великий Петр приходит,
Внимательный свой взор на здания возводит,
Из каменных бугров воздвигнута стена,
Водами ото всех сторон окружена...
Монарх почтив труды и знаки чудных дел,
Строение вокруг и место осмотрел,
Спросил наставника: «Кто сими вас горами
Толь крепко оградил, поставя их руками?» —
«Великий Иоан, твой сродник и пример,
Что россов превозшес и злых агарян стер.
Он жертву принося за помочь в бранях богу,
Меж протчими и здесь дал милостыню многу:
Пятьсот изменников пойманных татар,
Им в казнь, обители прислал до смерти в дар.
Работою их рук сии воздвиглись стены...

Ломоносов здесь немного ошибается. Стены Кремля из огромных валунов начали возводить в 1584 году вскоре после смерти Ивана Грозного по указу только что вступившего на престол царя Федора Иоанновича. И пятьсот татар — из легенды, ибо нет этому факту документальных подтверждений, а строили и соборы, и стены Кремля монастырские крестьяне — поморы.

В последующие годы А. С. Пушкин мог прочесть о Соловецкой обители в книге: «Плавание по Белому морю и Соловецкий

монастырь. Сочинение Я. Озерецковского. Санкт-Петербург. В типографии Н. Греча. 1836». Это издание было в библиотеке поэта.

Наша книга в большей своей части повествует о тюремной миссии Соловецкого монастыря, очень важной в истории, но мало известной до последнего времени. Из исторической объективности отметим, что в перечисленных источниках Пушкин в первую очередь прочел именно о достоинствах Соловецкой обители.

Архимандрит Досифей пишет о своем монастыре: «За десять верст Соловецкий монастырь начинает казаться плывущим... по Белому морю. Здесь представляет он множество колоссальных белых зданий, церковных и колоколенных остроконечных строений и башенных верхов, украшенных шпицами.

Все сие, смешавшись вместе, образует в отдаленном взоре хотя не обширный, но довольно обзаведенный строениями город. Приближаясь более к сему монастырю, при первом общем взгляде на его наружность, смешанно приемлет чувство приятного, странного и величественного».

Основание обители положено в 1429 году монахами Савватием, Германом и Зосимой. Первой была сооружена деревянная Преображенская церковь, затем тоже деревянные Успенская церковь с трапезной, звонница, кельи, поварня и другие хозяйственные постройки. Все они были уничтожены пожаром 1485 года. Вскоре новые постройки монастыря встали на том же месте, но снова пожар 1538 года уничтожил обитель. И было решено строить монастырь из камня. Начало каменному строению положил игумен Филипп (боярин Федор Степанович Колычев) — умный, деятельный, волевой человек. При нем на острове стали прокладываться дороги, были построены кирпичный, гончарный заводы, кузница, литейная. Он соединил каналами семьдесят два озера и эту систему вывел в Святое озеро у стен монастыря, обеспечив его пресной водой. За короткий срок Соловецкий монастырь становится одним из самых крупных и влиятельных на Руси, третьим по величине после Троице-Сергиева и Кирилло-Белозерского монастырей.

Эта твердыня многие века украшает и охраняет северные пределы России.

«ПОДПОРУЧИК ВЫНДОМСКИЙ»

В Михайловском едва ли не главным утешением поэта была дружба с семейством Осиповых-Вульф, жившем в соседнем имении — Тригорском. Глава семьи — вдовая Прасковья Александровна, живая и энергичная сорокатрехлетняя женщина, имея доброе сердце и значительную образованность, сумела стать искренним другом поэта до конца его дней. Дети ее — ровесница Пушкина Анна, четырнадцатилетняя Евпраксия (Зизи), совсем маленькие — четырехлетняя Маша, годовалая Катя и падчерица Александра (Алина), восемнадцатилетняя дочь недавно скончавшегося второго мужа Прасковьи Александровны — вот жизнерадостное окружение, которое скрасило почти двухлетнюю ссылку Пушкина и вдохновило на многие поэтические откровения.

Поэта часто занимали беседы с умной, образованной и житейски мудрой Прасковьей Александровной Осиповой-Вульф (в девичестве Вындомской). Она была дочерью сотрудника журнала «Беседующий гражданин», ученика Н. И. Новикова и знакомого А. Н. Радищева, прекрасно образованного Александра Максимовича Вындомского. Именно он собрал в Тригорском большую библиотеку, которую постоянно пополняла его дочь и которой пользовался А. С. Пушкин. И надо думать, в беседах его с хозяйкой Тригорского немало говорилось о прошлом, о былом...

Случилось так, что семья Вындомских была связана с трагической и глубоко тайной в то время историей жизни семейства императора Ивана VI.

Вспомним историю. После смерти Петра I два года до своей смерти в 1727 году правила в России его вдова Екатерина. Затем власть перешла к двенадцатилетнему Петру II — внуку Петра Великого. Вскоре юный царь заболел оспой и в начале 1730 года умер. На престоле оказалась Анна Иоанновна — дочь брата Петра I — Ивана. Она скончалась в 1740 году. Но перед смертью назначила преемником императорской власти младенца Ивана VI (шестой от Ивана Калиты), которому еще не было и года. Кто же он?

У Анны Иоанновны была сестра Екатерина Иоанновна. У нее в замужестве за герцогом Леопольдом Мекленбург-Шверинским

родилась дочь Анна Леопольдовна, которая в свое время в замужестве за принцем Антоном Брауншвейгским родила сына Ивана Антоновича. Вот он-то и стал очередным императором России, а фактическим правителем — его мать Анна Леопольдовна. В младенце-императоре уже почти не было русской крови, ибо и отец его (Антон), и дед (Леопольд) были прибалтийскими немцами. Естественно, эта «немецкая партия» не устраивала русское дворянство, и переворотом 25 ноября 1741 года к власти пришла дочь Петра I — Елизавета Петровна. А вся Брауншвейгская семья: Антон-Ульрих, Анна Леопольдовна, их дети — Иван (низложенный император) и дочь Екатерина были отправлены в тайное заключение в Холмогоры Архангельской губернии [2]. А главным стражником совершенно тайного содержания семейства был направлен на Север капитан Максим Дмитриевич Вындомский — дед собеседницы Пушкина [3].

Почему выбор в этом тайном назначении пал на него? Вероятно, потому, что ему уже доводилось выполнять «северное» поручение. В сентябре 1740 года, тогда еще в чине подпоручика, Вындомский приезжал в Соловецкий монастырь, где делал допрос именитому узнику монастырской тюрьмы П. И. Мусину-Пушкину.

Допрос делал с робостью, ибо узник был знаменит еще совсем недавним своим огромным величием в Российском государстве. Вындомский нашел узника «в твердой памяти, однако ж больного, страждущего кровохарканьем» [4].

Граф сенатор Платон Иванович Мусин-Пушкин был славен богатством и знатностью. При Петре I молодой аристократ исполнял дипломатические миссии в Голландии, в Германских государствах, в Париже, в Копенгагене.

Будучи посланником в Париже, весьма милостиво обошелся с Абрамом Ганнибалом, который в это время во Франции обучался по заданию Петра фортификационному искусству. Вот что писал об этом в 1722 году из Франции прадед Пушкина в письме кабинет-секретарю императора А. В. Макарову: «Ежели бы здесь не был Платон Иванович, то я б умер с голоду. Он меня по своей милости не оставил [5]. И при Петре, и в последующие царствования благодаря своему уму, блестящей образованности и богатству

Мусин-Пушкин занимал видные сановные должности. В 1736 году стал президентом.

В правление Анны Иоанновны Платон Иванович был самым непримиримым врагом Бирона и немецкого окружения российского престола. По словам современников, в ненависти к ним доходил «до фанатизма, невзирая на то, что заграничное образование сделало из русского графа почти что графа европейского». Он сумел штат вверенной ему коммерц-коллегии сократить таким образом, что лишними оказались советники из немцев. В то же время асессорские вакансии заполнял людьми «из российских купцов, которые в чужих краях бывали и знают иностранные языки». Придворное немецкое окружение Анны ненавидело и боялось независимого в своих суждениях и поступках президента, руководившего экономической и финансовой политикой страны. Императрица видела и ценила огромную мощь государственного ума Мусина-Пушкина и незадолго еще до его ареста называла «любезноверным нашим тайным советником».

Но Бирон был коварен и убедил Анну в необходимости принятия жестких мер. 31 мая 1740 года Мусин-Пушкин был арестован. Арестовали и сподвижников по борьбе с немецким засильем Волынского, Хрущева, Еропкина и публично казнили их 27 июня. Мусин-Пушкин не был подвергнут публичной экзекуции и позору, ему был предъявлен приговор: «...обрежут... конец языка и заключат на всю жизнь в монастырь». Более мягкий приговор дипломатическая молва связывала с родством сановного графа с фамилией Романовых, ибо ходили упорные слухи, что Платон Мусин-Пушкин был сыном побочного сына (внуком) царя Алексея Михайловича.

В камере у сенатора «урезали» язык, но говорил он потом довольно отчетливо. А вскоре был отправлен в Соловки, в тот самый монастырь, в который по иронии судьбы он сделал ранее богатый вклад — 300 рублей. Он был помещен в жуткий каменный мешок Головленковой башни монастыря, ибо стражники имели предписание содержать его в «наикрепчайшей тюрьме под караулом, а пищу давать ему обыкновенную против монахов» (такую же как и монахам).

Имущество состоятельного графа было разграблено. Имения

его присвоили себе Миних, Манштейн, Густав Бирон (брат самодержца). Семье узника была оставлена только их личная собственность. Грабеж немцами богатства Мусина-Пушкина был настолько тщательным, что молодой подпоручик Вындомский был послан в Соловки допросить больного подагрой старика именно о его пожитках и векселях.

Спасли графа династические перемены. 17 октября 1740 года скончалась Анна Иоанновна. Через десять дней, вероятно, опасаясь влияния могущественного аристократа, он был освобожден из заключения и отправлен на жительство в деревню жены в Симбирский уезд. В конце следующего 1741 года наконец взошла на престол глава «русской партии» — дочь Петра Елизавета,— и полностью реабилитированный Мусин-Пушкин появился в Москве, Петербурге и начал хлопотать о возвращении разграбленного имущества.

Мы столь подробно рассказали об этом влиятельном аристократе не только потому, что он прошел зловещие соловецкие застенки, но еще и по той причине, что являлся он прадедом Наталии Николаевны Гончаровой — будущей жены поэта. Дочь Мусина-Пушкина Надежда Платоновна была замужем за Афанасием Николаевичем Гончаровым и была она матерью отца Наталии — Николая Афанасьевича, а ей самой — бабушкой [6].

Все это Пушкину предстоит узнать, когда Наталия Николаевна станет его женой, а пока он в заснеженном Тригорском коротает дни в играх с молодежью и в долгих беседах с мудрой Прасковьей Александровной.

Но вернемся к холмогорской трагедии семьи Ивана VI. Вындомские жили на Севере очень долго. Через двадцать лет Елизавету на престоле сменила Екатерина II. А царские узники, одни — состарившись, а другие — возмужав, все в той же секретности жили в Холмогорах. А с ними и значительная охранная команда, которую возглавлял Вындомский. Императрицы, опасаясь обратного переворота, держали семью Ивана VI в полной изоляции даже от местного населения. Обитала она в строго охраняемом помещении, окруженном высоким забором. В север-

ном заточении Анна Леопольдовна родила еще троих детей: дочь Елизавету и сыновей Петра и Алексея и во время последних родов, в 1746 году, умерла. Иван на шестнадцатом году жизни, в 1756 году, был отделен от семьи и, как опасный претендент на престол, перевезен из Холмогор в Шлиссельбургскую крепость. Однако именно здесь и была сделана в 1764 году, уже при Екатерине II, неудачная попытка освободить его и восстановить на престоле. Эта попытка стоила ему жизни, ибо стражники, исполняя строжайшую инструкцию, убили его. Ему шел 25-й год, из которых 23 он провел в заключении.

Холмогорские узники долго не знали о гибели сына и брата. А Екатерина II после смерти этого претендента на престол указала Вындомскому, к тому времени уже полковнику: «Остававшихся арестантов содержать по-прежнему, еще и строже п с прибавкою караула...» [7]

После воцарения на престоле Екатерины II отец семейства Антон-Ульрих обращается к ней с просьбой отпустить семью за границу и клянется в верности ее величеству до конца дней своих. Ответа не последовало. В 1776 году, на 35-м году заключения Антон-Ульрих умирает в Холмогорах. И только в 1780 году Екатерина решилась отпустить семью за границу. Наступает последний акт драмы. В белую ночь с 26 на 27 июня специальное судно под купеческим флагом отправляется из Холмогор, минуя Архангельск. Тайна столь велика, что даже архангельский губернатор не ведает, куда ведут его подопечных. А везут их, по договоренности Екатерины II с королевой Дании и Норвегии Юлией-Марией (родной сестрой Антона-Ульриха) в маленький датский городок Горсенес, где они и завершили свою жизнь. Последней в 1802 году скончалась шестидесятидвухлетняя принцесса Екатерина. Такова печальная история этой семьи [8].

И очень долго рядом с ними в Холмогорах жили Вындомские. Сын М. Д. Вындомского Александр уже в 1759 году в чине сержанта помогал отцу в этой тайной службе, видел узников, общался с ними. Мы не знаем точно, в каком году Вындомские оставили службу на Севере, но произошло это уже при Екатерине II, ибо именно она отблагодарила старшего Вындомского за долгую и весьма ответственную службу званием генерал-майора

н селеиием Тригорское, где в опнсываемое намн время гостил А. С. Пушкни н слушал хозяйку этого имения.

Полковник А. М. Выидомский умер 12 февраля 1813 года, когда его дочери Прасковье Алексаидровие было уже за 30 лет, и она миогое зиала об отце, и о жизии в Холмогорах, и о поездке деда в 1740 году на Соловки.

Эти исторические сведеиия среди других, наверное, были темой бесед Прасковьи Александровны и Пушкина, однако иигде в пушкииских текстах мы не находим упоминаний о том, что Осипова посвящала поэта в фамильиые предаиия. Впрочем, это и поиятно. Пушкии соблюдал осторожиость, чтобы ие иавлечь иеприятиостей иа друзей, причастиых к государствениой тайне. Лишь один раз поэт «оговорился», упомянув холмогорских узников в восьмом пункте «Замечаиий о бунте».

«БЫВШИЕ ПУШКИНЫ»

Из Михайловского А. С. Пушкин неожиданно был вызван в Москву, куда и выехал в сопровождении фельдъегеря 4 сеитября 1826 года. В самый деиь приезда его ждала аудиеиция у самого императора, который прибыл в древиюю столицу России для коронации.

Поэт окунулся в долгождаииую московскую жизнь. Его всюду принимали с восторгом. Петербургский журиалист В. В. Измайлов писал в те дни: «Завидую Москве. Она короновала императора, теперь коронует поэта» [1].

Одиа из московских красавиц — Софья Федоровна Пушкиua пленила поэта:

Нет, ие агат в глазах у ней,
Но все сокровища Востока
Не стоят сладостных лучей
Ее полуденного ока.

А современиица писала о ней: «...была стройна... с прекрасным греческим профилем и чериыми, как смоль глазами, и была очень умная и милая девушка».

Пушкии очеиь скоро делает ей предложеиие стать его женой.

Он так скажет об этой торопливости: «...я вижу раз ее в ложе, в другой на бале, а в третий сватаюсь!» Но поспешность, вероятно, смущает и саму девушку, и ее родных. Пушкину отказывают.

Увы, напрасные желанья!
Она отвергла заклинанья,
Мольбы, тоску души моей:
Земных восторгов излиянья,
Как божеству, не нужно ей! [3]

В Москве поэт посетил и семью недавно скончавшегося Алексея Михайловича Пушкина (1771—1825) — дальнего родственника, писателя, переводчика. Его, вместе с отцом и дядей Василием Львовичем, имел в виду Пушкин, когда писал брату Льву из Кишинева 27 июля 1821 года: «Если ты в родню, то ты литератор...»

Семья Алексея Михайловича постоянно жила в Москве, и Александр Пушкин еще ребенком, до отъезда в Петербург и Лицей, знал их. Отец поэта, а особо брат его — Василий Львович были весьма дружны с этим литератором до самой его смерти, на которую откликнулся и Пушкин из Михайловского в письме к П. А. Вяземскому: «Как жаль, что умер Алексей Михайлович...»

Судьба этого родича, а особо судьба его отца (Михаила Алексеевича) и дяди (Сергея Алексеевича — соловецкого узника) — весьма интересовали поэта.

Обратимся к историческому документу. Прочитаем Указ императрицы Екатерины II, который был широко известен, ибо был разослан в 1772 году во все губернии России. Вот строки из этого Указа: «По проведенному здесь в Санкт-Петербурге... следствию, бывшие капитан Сергей и Мануфактур-коллегии член и коллежский советник Михайла Пушкины с их союзниками оказались и сами повинились в воровском умысле к подделыванию под государственные банковые подложенных ассигнований, из коих Сергей пойман с приуготовленными к тому уже инструментами. И хотя в самом деле коварного сего умысла не исполнили, однакож по законам присуждены за сие воровское предприятие к смертной казни...»

Однако Екатерина помиловала их и заменила смертную казнь на: «...лиша дворянства и чинов, вывесть на эшафот и переломить над головами их шпаги, а потом сослать Михайла Пушкина в ссылку в дальния Сибирския места, а Сергея Пушкина в вечное заключение... в отдаленную крепость, и публиковать во всей империи чтоб обоих сих преступников ни где и ни в каких делах не называть Пушкиными, но бывшими Пушкиными...»

Братья Пушкины и до этой истории были известные лица. Михаил Алексеевич участвовал в перевороте 1762 года. Его преображенский мундир был на плечах Е. Р. Дашковой во время похода Екатерины II в Петергоф. Княгиня Екатерина Романовна Дашкова — будущий выдающийся общественный деятель России, основательница и первый президент Российской Академии — была активной сподвижницей переворота 1762 года на стороне Екатерины. Когда они во главе войск двинулись в Петергоф, чтобы низложить и арестовать супруга Екатерины — Петра III, на обеих были мужские военные мундиры. Вот как пишет об этом в своих «Записках» Е. Р. Дашкова: «Мы должны были... отправиться в Петергоф во главе войск. Императрица должна была одеть мундир одного из гвардейских полков; я сделала то же самое; ее величество взяла мундир у капитана Талызина, а я у поручика Пушкина, так как они были приблизительно одного с нами роста» [5].

Эта услуга не была забыта Екатериной, и М. А. Пушкин в дальнейшем имел высокую должность советника Мануфактур-коллегии в Москве, и, вероятно, эта услуга избавила его и брата от смертной казни. Михаил Алексеевич был не чужд литературе, писал стихи, был завзятым театралом. А княгиня Е. Р. Дашкова писала о нем: «Он был очень умен и благодаря его тонкому уму и остроумной беседе пользовался большим успехом среди молодежи». Однако она же заметила вероломство его характера и неразборчивость в достижении своих целей, о чем также рассказывает в своих «Записках».

О брате его — Сергее в Указе есть слова: «а второго, уже наперед своими бесчестными делами в публике оглашенного...» Значит, он уже имел прегрешения. Какие же? Оказывается, еще в 1760 году он был отправлен И. И. Шуваловым в качестве курье-

ра к Вольтеру с материалами для второго тома «Истории Петра Великого» и с двумя тысячами червонцев в подарок писателю. Доехав до Вены, он с деньгами скрылся, затем объявился в Париже, где, промотавшись, оказался в долговой тюрьме. Возвратиться в Россию ему помогло заступничество брата [6].

Пушкиных погубила попытка поправить расстроенное состояние подделкой ассигнационных билетов первого екатерининского выпуска 1769 года. В феврале 1772 года Сергей Пушкин был задержан в Риге с клише будущих фальшивых денег.

Согласно Указу братья были сосланы: Михаил в Сибирь, а Сергей — на вечное заключение в острог в Пустозерск, где он буйствовал и замышлял побег. А потому в 1781 году оказался в более надежных застенках — в тюрьме Соловецкого монастыря, здесь и скончался в 1795 году.

Так вот, упомянутый выше литератор Алексей Михайлович Пушкин был сыном Михаила Пушкина, сосланного в Сибирь, брат которого закончил свою жизнь на Соловках. Поэт, несомненно, знал о злоключениях братьев.

Старший из братьев — Михаил Алексеевич был сослан в Тобольск. За ним последовала и его жена Наталья Абрамовна, рожденная княжна Волконская. Это, может быть, послужило примером женам декабристов. Наталья Пушкина годовалого сына Алексея оставила на попечение своей кузины Прасковьи Владимировны Долгорукой (в замужестве Мелиссино) [7]. А через полвека другая Волконская — Мария Николаевна, уезжая вслед за мужем-декабристом в Сибирь, также оставила годовалого сына Николая, но уже по принуждению. Эти повторения судеб интересны нам, как были весьма интересны и Пушкину.

В Тобольске М. А. Пушкин сотрудничал в журнале «Иртыш, превращающийся в Иппокрену» — первенце сибирской журналистики. В январской книжке «Иртыша» за 1790 год помещено стихотворение «Русского Мильтона», слепого поэта и драматурга Н. П. Николева «На смерть генерал-майора князя Сергея Абрамовича Волконского, принесшего жизнь свою в жертву отечества сего 1788 года... при взятии Очакова». Ранее это стихотворение было напечатано в «Московских ведомостях». Нетрудно понять, что журнал перепечатал его, поскольку на берегах Иртыша то-

милась в ссылке сестра погибшего генерала. Поэт упоминает в стихотворении о «страждущей сестре героя» и взывает к «Милости» (Екатерине II), что «заслуга братнина сея достойна мзды!», что нужно «скончать беды... несчастной».

Следом за стихами Николева иапечатаны без подписи «Стихи, служащие ответом...»:

Чрез горы, чрез леса, чрез реки и стремнины,
В полночный льдистый край, где жизнь влачу стеня
Плачевных дней моих, где скоро жду кончины,
Твой бесподобиый глас достигнул до меня.

Коль глас преступника внимания достоин,
Прими признательность из недр души моей!
Супругой я призреи... я ею успокоен...
Я ей дышу!.. А ты берешь участье в ней!
Ах! Чем воздам тебе?..

Эти стихи принадлежат М. А. Пушкину, беззаветно благодарному супругу. А слово «призрен» в то время означало — присмотрен, обогрет...

Отметим, что в Тобольске М. А. Пушкин познакомился с А. Н. Радищевым, также пребывавшем в ссылке. В дневнике последнего есть запись о их совместном посещении местного Ивановского монастыря. А в это время на беломорском Севере иаходятся их братья. Сергей томится в Соловецкой тюрьме, а Михаил Радищев служит в Архангельске. Кто знает, быть может, и это было темой их беседы [8].

М. А. Пушкин скончался в Тобольске. Похороиив мужа, Наталья Абрамовна вернулась в Москву, где нашла уже повзрослевшего сына. В салоне ее постоянио бывали В. Л. и С. Л. Пушкины, князь П. А. Вяземский: скончалась оиа в 1819 году.

У Михаила и Сергея Пушкиных был еще брат Федор Алексеевич, воронежский губернатор. Он умер в 1810 году. Вот в дочь его — Софью Федоровну и был влюблен А. С. Пушкин и просил ее руки осенью 1826 года. Она была родной племянницей «бывших Пушкиных». К этой же ветви Пушкиных принадлежал и Никифор Изотович Пушкин, женатый иа Е. Кашиной, родной тетке П. А. Осиповой-Вульф, соседке поэта по Михайловскому.

Как видим, у Пушкина было достаточно соприкосновений с этой ветвью семьи и он имел возможность знать подробности и о жизни братьев Пушкиных, о печальной участи соловецкого узника Сергея Алексеевича Пушкина.

Но беломорский Север был не только местом ссылки и тюремного заключения, но и достаточно почетных назначений. Почти за 40 лет до появления здесь Сергея Пушкина архангельским губернатором в 1743—1745 годах был его отец — Алексей Михайлович Пушкин, видный сановник, действительный камергер. Он был женат на Марии Михайловне Салтыковой, родственнице императрицы Анны Иоанновны. Этим, вероятно, объясняется близость семьи к дворцовым делам и участие старшего сына Михаила в перевороте 1762 года [9].

После Архангельска Алексей Михайлович Пушкин получил назначение посланником в Копенгаген и в мае 1745 года выехал в Данию. Мог ли он предполагать, что сын его так бесславно закончит дни свои в этих северных оконечностях России?

И все же — кем приходятся все эти Пушкины поэту? Что за родственная связь?

Некоторые литераторы и в наши дни повторяют ошибку, сделанную в статье И. Блинова «О бывшем Пушкине», опубликованной в 98-м томе журнала «Русская старина» (1899 г.). Там есть строки: «Сопоставляя эти сведения с теми, что у бабушки А. С. Пушкина, Марии Алексеевны Ганнибал, урожденной Пушкиной, дочери тамбовского воеводы, был брат Михаил; что у Марии Алексеевны родилась дочь Надежда — мать поэта — в 1775 году; что осужденный Михаил Пушкин, очевидно, принадлежал к именитому дворянству, а потому и лишен фамилии — следует предполагать, что осужденный в 1772 году коллежский советник Михаил Пушкин был двоюродным дедом поэта».

Но это не так. Это очень заманчиво — такие близкие к поэту родные (братья любимой бабушки!) вписали интересную страницу в историю! Но это не соответствует действительности. У бабушки поэта Марии Алексеевны, в девичестве Пушкиной, были братья Михаил и Юрий, а Сергея не было [10].

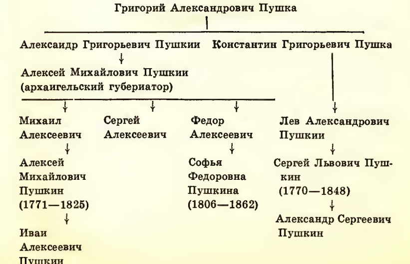
Так кем же тогда являются «бывшие Пушкины» поэту?

Григорий Пушка — родоначальник этой фамилии в России, живший в конце XIV века, имел семь сыновей, из которых лишь двое — Александр и Константин — передали своему потомству фамилию Пушкиных, тогда как от остальных пошли Мусины-Пушкины, Бобрищевы-Пушкины, Шафериковы-Пушкины и другие.

Александр Григорьевич Пушкин основал старшую ветвь Пушкиных, которая угасла в 1875 году со смертью Ивана Алексеевича, сына упоминаемого литератора Алексея Михайловича, современника А. С. Пушкина. А величайший поэт России украсил младшую ветвь Пушкиных, идущую от Константина Григорьевича,— ее представители здравствуют и в наши дни.

Такова достоверная связь поэта с этими известными в истории России братьями Пушкиными. Но надо помнить, что во времена поэта все родственные связи еще весьма чтились, уважались и поддерживались.

СХЕМА РОДОСЛОВИЯ ПУШКИНЫХ



«Я ПОМНЮ, КАК В ТЮРЬМЕ ЖЕСТОКОЙ...»

Итак, Пушкин в Москве. Появление его вызвало восторг. Но это было не только восхищение прекрасным поэтом, автором «Руслана и Людмила», южных поэм, множества широко известных стихотворений; это было восхищение человеком, достойно вышедшим из катастрофы 14 декабря. Недавно были казнены пятеро и множество отправлено в Сибирь.

А ведь широко было известно, что его стихи были камертоном вольномыслия декабристов, списки их были найдены у многих причастных к движению.

Современник вспоминает о появлении Пушкина в Большом театре 12 сентября 1826 года: «...Пушкин вошел... мгновенно пронесся по всему театру говор, повторяющий это имя. Все взоры, все внимание обратилось на него...» [1] А поэтесса Евдокия Ростопчина писала:

> Вдруг все стеснилось — и с волненьем,
> Одним стремительным движеньем
> Толпа рванулася вперед...
> И мне сказали: «Он идет!»
> Он, наш поэт, он, наша слава,
> Любимец общий! Величавый
> В своей особе небольшой,
> Но смелый, ловкий и живой...

О значении Пушкина для России после 14 декабря Герцен сказал: «Только звонкая и широкая песнь Пушкина раздавалась в долинах рабства и мучений; эта песнь... полнила своими звуками настоящее и посылала свой голос в далекое будущее» [2]. А вот слова из донесения жандармского генерал-майора Волкова Бенкендорфу в 1827 году: «Редкий студент Московского университета не имеет сейчас противных правительству стихов писаки Пушкина» [3].

Мы знаем, что за это вольномыслие молодой Пушкин еще в 1820 году едва не угодил на Соловки. Но, оказывается, Соловки угрожали и декабристам!

Едва не оказался там «первый декабрист» В. Ф. Раевский, арестованный еще в 1822 году. Генерал Сабанеев прочил ему

ссылку именно в Соловецкнй монастырь. В своем заключении по делу Раевского этот генерал запишет: «Ревского, как вредного для общества человека, удалить от оиого в Соловецкнй монастырь...» [4]. Но Владимир Федосеевич долго сндел в тюрьмах н лишь в конце 1827 года был отправлен на вечиую ссылку в Снбирь.

Вскоре после событий 14 декабря, в феврале 1826 года начальннк Главного Штаба барои Днбнч направнл в Архангельск генерал-губернатору Мннныцкому запрос, в котором есть строкн: «...прошу уведомнть меня, сколько можно поместнть в Соловецком монастыре государствеииых преступников? Какого рода имеются там помещеиня и совершенно лн место сие можно почитать безопасным во всех отношеннях» [5].

Мнннцкнй сразу понял, о ком ндет речь, н возрадовался, нбо поннмал, что столь ответственное поручение, если оио последует, даст ему новые возможности успешного продвнжеиия по службе. В его мгновенном ответе, который был отправлен на следующий день по полученнн запроса, генерал-губернатор сообщнл, что сейчас в моиастыре находятся 28 арестантов и двое ждут отправки на остров; караул состонт из 27 рядовых, двух унтер-офнцеров н одного обер-офнцера. И дал деловые соображення: «В отношеннн монастырскнх зданнй и укрепленнй... можно думать, что поместнтся там немалое чнсло арестантов». Далее Миннцкий сообщает, что сам съезднт на Соловки, и проснл в помощникн хорошего иинженера, который бы «...зная цель и какого рода преступннков предполагается там поместить, сообразно с снм предложил сделать устроенне недорогое, но удобное как для помещения, так и для безопасиостн, н тогда мы с снм инжеиером доложнлн бы н о том, в каком чнсле военную комаиду нметь...» [6] 24 марта Днбнч сообщает Мнницкому, что его предложеине одобрено нмператором: «Как только что откроется судоходство по Белому морю, отправнлнсь бы в Соловецкий моиастырь вместе с комендантом Новодвинской Архангельской крепостн нннженер-полковником Степановым н, осмотрев тогда сей монастырь, составнли бы предложенне, сколько можно будет в оном поместнть арестаитов офнцерского звання и какое нужно сделать для сего устроенне, иедорогое, но удобиое». Слова «офнцерского звания»

в этом распоряжении развеяли у Миницкого всякое сомнение в том, что за арестантов ему следует ожидать.

В начале июня Миницкий, Степанов и игумен монастыря Досифей осмотрели всю обитель, определили помещения, которые можно обратить в тюрьму, и дали ответ Дибичу. В нем была выражена возможность после небольших работ иметь помещения для 40 человек арестантов и, чтобы больше принять новых, 20 нынешних заключенных перевести в монашеские кельи и обратить их в «черные монастырские работы». Предвидя большую потребность, Миницкий предложил приспособить под тюрьму еще каменные здания мастерской и цехгауза, на что потребуются уже более значительные работы и средства в сумме более 15 тысяч рублей. Но эти работы дали бы дополнительно еще 62 арестантских места. К письму губернатора Степанов приложил документ «Смета о некоторых исправлеииях в камеиных строениях, принадлежащих Соловецкому монастырю, для помещения арестантов».

Предложения Мииицкого были одобреиы Николаем. Коменданту Петропавловской крепости Сукину было дано поручение составить инструкцию для начальиика Соловецкой тюрьмы, что и было им исполнено.

Однако время торопило, да и осужденных оказалось много, и потому с лета 1826 года декабристов стали партиями направлять в Сибирь. Надобность в Соловецких застенках отпала, и «по ненаставшей иадобности в предполагаемой перестройке высочайше повелеио дело сие оставить без дальнейшего производства».

Из декабристов, арестоваииых сразу же после восстаиия, в Соловецкой тюрьме позднее оказался и провел долгие годы лишь А. С. Горожанский. Но о нем немного поздиее.

В августе 1827 года по Москве пошли слухи о раскрытии еще одного заговора. Это были известное «дело братьев Критских».

Молодые люди — Петр Критский, 21 года, канцелярист одного из департаментов сената, его братья — студенты Московского

университета Михаил (18 лет) и Василий (17 лет) со своими товарищами разного социального положения — Лушниковым, Тюриным, Салтановым, Матвеевым, Тамаиским, Роговым, Поповым и другими неодиократно собирались вместе и, «выхваляя конституции Англии и Гишпании, представляли несчастным тот народ, который состоит под управлением монархическим, и называли великими преступников 14 декабря, говоря, что они желали блага своему отечеству» [7]. На одной из бумаг, изъятых при обыске, нашли печать с надписью «Вольность и смерть тирану». Молодые люди имели «тайное желание видеть Россию под конституционным правлением с уверениями пожертвовать для того самой жизнью». Петр Критский показал, что «погибель преступников 14 декабря родила в нем негодование», а также «любовь к независимости и отвращение к монархическому правлению возбудились в нем наиболее от чтения творений Пушкина и Рылеева». Заговорщики имели намерение поднять восстание в Москве в первую годовщину коронации Николая I — 22 августа 1827 года. С этой целью хотели разбросать по всей Москве «возмутительные записки». Они рассчитывали на помощь находящегося в немилости у императора, но очень популярного в народе генерала А. П. Ермолова, а возглавить свое тайное общество, взять председательство в нем — имели намерение предложить... А. С. Пушкину» [8].

Все участники заговора по их собственной неосторожности были арестованы. И жестоко после следствия наказаны, отправлены в тюремные казематы, в солдатчину, в дальнюю службу, по обычаю Николая I — без указания сроков.

Петра Критского в декабре 1827 года заточили в Швартгольмской крепости, а Михаила и Василия Критских — в тюрьму Соловецкого монастыря. Однако по пути в Соловки решили, что братьев надо разъединить, и Василия отправили в Шлиссельбургскую крепость, где он и умер в 1831 году «от изнурительной лихорадки», а Михаил оказался на Соловках. Мать Критских знала, где сыновья, и переписывалась с ними.

Неожиданная ревизия соловецкого острога петербургским подполковником корпуса жандармов Озерецковским спасла Михаила Критского от бессрочного там пребывания. Жандармский офицер

пашел чрезмерным усердие монахов в охранном рвении, ибо увидел, что положение арестантов было «весьма тяжелым». Михаил Критский был переведен рядовым в Мингрелию, в Черноморский батальон, где был убит в сражении с черкесами.

Исследователь «Дела братьев Критских» М. К. Лемке писал в начале нашего столетия: «Вникните теперь в дело братьев Критских и попробуйте отдать себе отчет, за что было разбито столько молодых жизней? Только за разговоры в тесной компании, только за скрыто выраженное неудовольствие системой кнута... Люди не только ничего не совершили преступного, но даже не предприняли тех шагов, без наличности которых, по здравому смыслу и основам права, их нельзя обвинять в покушении, даже в твердо выраженном намерении... И за это Шлиссельбурги, Швартгольмы, Соловки!»

Судьба спасла Пушкина не только от участия в замыслах молодых людей, но даже и от предложения. Опьяненные поэтическим вольномыслием Пушкина, но не вникая глубоко в суть его послессыльной жизни, они нашли, что «Пушкин ныне предался большому свету и думает более о модах и остреньких стихах, нежели о благе отечества», н... не побеспокоили поэта.

Трудно представить ответ Пушкина, получи он предложение заговорщиков. Однако тень Соловков вновь если не накрыла поэта, то прошла совсем близко. Уж очень часто имя Пушкина встречается в следственных делах того времени. Да и немало озорных стихов-эпиграмм на императора в те дни в народе вполголоса повторяли. Вроде этих:

Немного царствовал, но много почудесил,
Пятьсот послал в Сибирь, а пятерых повесил.

Или и того злее:

С ног до головы — детина,
А с головы до ног — скотина.

И именно за Пушкиным торопились признать авторство этих чисто народных сочинений.

Теперь об Александре Семеновиче Горожанском. Мы не располагаем свидетельствами его знакомства с Пушкиным. Однако «Словарь декабристов» поясняет, что девятнадцатилетний Горожанский в 1819 году — юнкер лейб-гвардии Кавалергардского полка [9]. И следовательно, встречи их, если не знакомство, более чем возможны. Горожанский был принят в Северное общество в середине 1823 года, арестован 29 декабря 1825 года. Царь определил наказать его «исправительной камерой: продержав еще 4 года в крепости, перевести в Кизильский гарнизонный батальон». Что и было исполнено. После четырех лет тюремного заключения в Петропавловской крепости он был определен на службу в Оренбургский батальон «под бдительное наблюдение его начальства». Однако вскоре было замечено в нем «особенное против всего ожесточение»: он даже «произносил разные дерзкие слова на особу его величества». Вот по этой причине и оказался он 11 февраля 1831 года в Архангельске, а с открытием навигации 21 мая — в Соловецкой тюрьме [10]. Охранники вскоре нашли в нем «помешательство ума». И немудрено, ибо главный тюремщик — настоятель монастыря Досифей держал строптивого политического в земляной яме. Это был последний узник самой страшной — земляной — тюрьмы в Соловках. Добившись свидания с сыном, мать заключенного, приехав на Соловки, «нашла его запертого в подземелье... питающегося гнилою рыбою, которую ему бросали в сделанное сверху отверстие». Хлопотами матери он был переведен из-под земли в чулан, в котором можно было только лежать или стоять.

Доведенный до крайнего психического расстройства Горожанский 9 мая 1833 года во время сопровождения его в тюремную церковь схватил оставленный без присмотра нож и убил часового Скворцова.

Мать тщетно хлопотала о переводе сына в больницу для душевнобольных. И «волею божией умер» он в тюрьме Соловков 29 июля 1846 года.

Увиденные матерью Горожанского в начале 30-х годов монастырские тюремные обычаи стали широко известны в России. Впрочем, жандармы теперь особо и не скрывали ни местонахождения заключенных, ни условий их содержания.

«ПУШКИН... ОЧЕНЬ ЕГО ПОЛЮБИЛ»

Эта строка — из воспоминаний племянника поэта Льва Павлищева, записанных со слов матери — Ольги Сергеевны, сестры А. С. Пушкина. И относится эта строка к Павлу Исааковичу Ганнибалу — двоюродному дяде поэта. И... тоже соловецкому узнику!

У «арапа Петра Великого» — Абрама Петровича Ганнибала, прадеда А. С. Пушкина — было четверо сыновей: Иван, Петр, Осип, Исаак и три дочери: Елизавета, Анна и Софья. Младшего сына Абрам назвал Саввой в честь своего первого, памятного с детства покровителя — помощника русского посланника в Турции Саввы Лукича Рагузинского, который «промыслил его, (Абрама.— *И.С.)* от турков» и отправил в Россию в подарок Петру [1]. Однако в семье имя Савва почему-то не привилось и его стали называть Исааком.

По завещанию отца Исааку Абрамовичу досталось «в Псковском наместничестве в Опочецком уезде в Михайловской губе деревня Оклад, что ныне называется сельцом Воскресенское...». Эта усадьба стояла на холме неподалеку от большого озера Белогуля, в 5—6 верстах от Михайловского. Семья была большая — 15 детей, но некоторые сведения есть только о сыновьях Петре, Павле, Семене, Якове.

Наш рассказ о Павле Исааковиче. Был он вторым из восьми сыновей Исаака, и был жизнерадостным, добродушным, гостеприимным, но, как и все Ганнибалы,— своевольным и необузданным. Еще отец его, Исаак, превзошел всех Ганнибалов: в 1779 году в пьяном разгуле «убил вдову воронежского попа, которая отвергла ласки Ганнибальи...» [3] И после этого сумел отвертеться от ответственности за это злодеяние. И сыновья его Павел и Петр по воспоминаниям Ольги Сергеевны, сестры поэта, были «олицетворением пылкой африканской и широкой русской натуры, бесшабашные кутилы, но люди редкого честного и чистого сердца, которые, чтобы выручить друзей из беды, помочь нуждающимся, не жалели ничего и рады лезть в петлю» [4]. В 1812—1820 годы братья Павел и Петр часто бывали в Михайловском

в гостях у родителей поэта и считались самыми веселыми родственниками.

После окончаиия Лицея летом 1817 года А. С. Пушкин приехал в Михайловское и побывал в Воскресенском, в гостях у Павла Исааковича Ганнибала. Эпизоды этой первой встречи молодого поэта со своим двоюродным дядей описывает Л. Н. Павлищев: «Павел Исаакович Гаииибал был человек веселый. Во главе импровизированного хора бесчисленных деревеиских своих родственников, вооруженный бутылкой шампанского, он постучал утром в дверь комнаты, предоставленной приехавшему к нему на именины Александру Сергеевичу, и пропел ему следующий экспромт:

Кто-то в двери постучал:
Подполковник Ганнибал,
Право слово Ганнибал,
Пожалуйста, Ганнибал,
Свет — Исакыч Ганнибал,
Сделай милость, Ганнибал,
Тьфу ты, пропасть, Ганиибал!

Пушкин, только что выпущеиный тогда из Лицея, очеиь его полюбил, что, одиако, не помешало ему вызвать Ганнибала на дуэль за то, что Павел Исаакович в одной из фигур котильоиа отбил у него девицу Лошакову, в которую, несмотря на ее дуриоту и вставиые зубы, Пушкии по уши влюбился. Ссора племянника с дядей кончилась мииут через десять мировой и новыми увеселениями да пляской, причем Павел Исаакович за ужином провозгласил под влиянием Вакха:

Хоть ты, Саша, среди бала
Вызвал Павла Гаииибала,
Но, ей-богу, Гаииибал
Ссорой ие подгадит бал!

Алексаидр Сергеевич тут же, при публике, бросился ему в объятия».

Как видим, дядя Пушкииа не был лишен и иекоторого поэтического даровaиия.

И вот этот человек оказался узником Соловецкого монастыря...

Этому предшествовала тридцатилетняя военная служба. В 1790 году Павел Ганнибал — кадет Морского корпуса, в 1791-м — гардемарин, в 1794-м — мичман. Служил на Балтике, в Кронштадтском порту. В отставку из флота ушел в 1799 году, получив чин лейтенанта. Но молодому дворянину находиться вне службы тогда было не принято, и Ганнибал продолжил военную карьеру в кавалерии, где за долгие годы добросовестной службы и участие в Отечественной войне 1812 года поимел звание майора, а затем подполковника. Награжден орденами и «высочайшим благоволением» за храбрость. В 1824 году подполковник Ганнибал вышел в отставку, жил в Петербурге [5].

В августе 1826 года «без объявления за что» он был арестован и посажен в Петропавловскую крепость. Это было не первое его посещение печально знаменитой тюремной цитадели. В 1812 году он побывал здесь за участие в дуэли и был предан военному суду, который завершился императорским прощением и возвращением на службу [6].

Нынешнее заключение обернулось трагедией.

Уже до начала допроса у военного генерал-губернатора Петербурга Кутузова он понял, за что его арестовали, ибо через открытую дверь в соседней комнате увидел подполковника Краковского, с которым два месяца назад в одной из петербургских «рестораций» у него произошел весьма резкий разговор политического содержания.

Этот спор был явно спровоцирован Краковским. Он стал слишком неодобрительно («самые поносные замечания») говорить об участниках недавнего восстания 14 декабря. Добросердечному Ганнибалу это было крайне неприятно, и он сделал Краковскому замечание, напомнив царский указ, запрещавший «упреки потерпевшим наказание». И «движимый чувством сострадания» к осужденным, Павел Исаакович обмолвился, что несчастные были «слишком сурово наказаны». Вот это искреннее сострадание и стало предметом доноса.

На допросе П. И. Ганнибал, следуя своей природной порядочности, не стал запираться и подтвердил сказанное.

И в результате: «Государь император высочайше повелеть соизволил... отставного подполковника Ганнибала выслать в Вологодской губернии города Сольвычегодск, где жить ему под надзором полиции». Срок пребывания в ссылке, как обычно,— не указан.

Павел Исаакович оказался здесь в октябре 1826 года. Средства на содержание ссыльного не были определены, и, не имея собственных доходов, Ганнибал бедствовал. Он не был причастен к политической борьбе и, не чувствуя за собой вины, жестоко страдал и потому был «всегда почти мрачен...». В жестокое противоречие вступили его природная гордость и дворянское достоинство офицера высокого звания с подозрительным и бестактным поведением городничего Соколова, который ежедневно посещал Ганнибала и часто «в нетрезвом виде». Из донесения Соколова генерал-губернатору Миницкому: Ганнибал «в обращении иногда бывает хорош и весел, но часто выражения употребляет гордые и резкие». В результате личной неприязни к ссыльному в донесениях городничего постоянно упоминается «азартный» и «отчаянный» нрав Ганнибала. Отношения обострились до предела. Служебные обязательные сообщения о поведении поднадзорного превратились в грязные доносы. Справедливость их Миницкий проверить не удосужился, а обратился к министру внутренних дел с предложением: «...не благоугодно ли будет освободить город Сольвычегодск от столь опасного для жителей... человека, назначив ему, Ганнибалу, местопребыванием Соловецкий монастырь, где он, находясь под арестом, не будет иметь возможности ни себе, ни кому другому причинить вреда». Предложение было принято, и в марте 1827 года поступило «высочайшее соизволение на отправление подполковника Ганнибала под присмотр в Соловецкий монастырь». И снова без указания срока: несколько неосторожно сказанных слов, за которыми нет ни малейшего злого умысла, ломают судьбу человека.

Сообщение о переводе на Соловки Павел Исаакович встретил спокойно. Вероятно, еще не зная условий Соловков, принял это за облегчение, за возможность покинуть угнетавший его Сольвычегодск.

26 апреля 1827 года в сопровождении жандармского офицера Ганнибал выехал из Сольвычегодска. Своего дворового человека Никиту Дементьева, который до этого времени был при нем, он отправил в Псковскую деревню. Ехали, минуя Архангельск. На пригородной пристани взошли на монастырское судно и прибыли на Соловки 9 мая.

И потянулись дни истинной трагедии Ганнибала, длившейся пять с половиной лет. Первые две недели, оказавшись в тюремной камере, он неистово бился, требуя свободы. Но силы пятидесятилетнего узника иссякли: наступило вынужденное смирение.

Отечественная история с гордостью называет имена многих женщин — родственниц осужденных, самоотверженно боровшихся за облегчение участи своих сыновей, мужей, братьев. И среди них нужно обязательно назвать и записать имя Варвары Тихоновны Ганнибал, урожденной Лансе — супруги Павла Исааковича. Они уже давно были в разводе и жили врозь. Но, узнав о беде, в которой оказался ее супруг, она оставила обиды и решительно принялась хлопотать об облегчении его участи. Узнав (не сразу и, вероятно, от приехавшего из Сольвычегодска слуги Ганнибала), где находится ее бывший супруг, она обратилась в начале 1829 года к Бенкендорфу с письмом, в котором просила избавить мужа от тюрьмы и с пользой для отечества отправить его в действующую армию на Кавказ. Бенкендорф отказал.

Но «Варваре Ганнибаловой» (так она себя именовала в прошениях) была разрешена переписка с мужем, и к тому же ей разрешили послать ему деньги и вещи. Это было исключительным явлением в истории Соловецкой тюрьмы, ибо она числилась в разряде секретных.

В октябре этого же, 1829 года, по многократным просьбам Варвары Тихоновны, Миницкий сам обратился к Бенкендорфу с предложением облегчить участь Ганнибала. В своем предложении он сослался на положительный отзыв об узнике настоятеля монастыря Досифея. Но Бенкендорф снова, не извещая царя, по своей воле отказал просителям.

В 1830 году за служебные злоупотребления Миницкий был смещен, и генерал-губернатором огромного северного края был назначен адмирал Роман Романович Галл, который оставил по

себе добрую память на Беломорье. Свои душевные качества адмирал показал в первые же дни назначения. Еще в Петербурге он принял Варвару Тихоновну, выслушал ее, принял от нее посылку мужу.

По приезде в Архангельск он отправил посылку на Соловки Ганнибалу и запросил у архимандрита Досифея его суждения об этом узнике. Суждения были добрые, но обращает внимание приписка Досифея: «Хотя Ганнибал рекомендацию оную и заслужил постоянным своим поведением, но живущие у нас делаются хорошими и поневоле за неимением средств к поведению противнику сему, а как будет жить в мирском быту, если бы получили свободу, заверять о таковой их будущности, я не могу».

А Варвара Тихоновна продолжала демонстрировать свою решительность. 20 апреля 1830 года, во время парада войск у Михайловского замка, она пробилась к дежурному генералу Голицыну и подала прошение на имя императора о помиловании мужа. Но в это время начались волнения в Варшаве, открылась эпидемия холеры, и прошение лежало без ответа.

Варвара Тихоновна не падает духом. Она избирает другой путь — просит Галла, чтобы он уговорил Досифея самому просить освобождения ее мужа, дав ему хорошую аттестацию. Однако игумен, несмотря на просьбу самого генерал-губернатора, не решился на это, ибо считал себя не вправе выдавать какие-либо бумаги без запроса.

Следует сказать, что политические мотивы осуждения Ганнибала не упоминались нигде, о них, вероятно, даже не было известно соловецким монахам-тюремщикам. Осторожный Досифей никогда бы не отозвался положительно о политическом узнике. А потому и в архивах Соловецкой тюрьмы это дело значилось как «Дело № 1.171. О подполковнике Ганнибале. За буйство и дерзость 1827 г.» [7].

В июне 1832 года Варвара Тихоновна снова подает ходатайство Бенкендорфу. На этот раз он запросил мнение военного губернатора. Р. Р. Галл, в свою очередь, тоже официально запросил Досифея, и тот 9 августа прислал пространную петицию о добром поведении заключенного, которая завершалась словами:

«Посему долгом почитаю со своей стороны присовокупить мое мнение, что он, Ганнибал, по старости лет и за заключенное более пяти лет наказание, заслуживает всемилостивейшего прощения и жить в семейственном фамильном кругу семьи». Галл от себя добавил согласие с этим мнением.

27 сентября 1832 года Николай I «не изъявив соизволение на совершенное прощение подполковника Ганнибала, всемилостивейше дозволил назначить ему место жительства ближе сюда».

27 октября одним из последних судов навигации того года Ганнибал был доставлен в Архангельск. Здесь начались уточнения — где ему дальше жить, ибо Николай запретил его присутствие в Петербурге, где он жил до ареста и где жила Варвара Тихоновна. Павел Исаакович выразил готовность жить вблизи столицы, в маленьком городишке Луга, куда и выехал свободно «без всякого надзора в пути» 16 февраля 1833 года. По приезде к месту жительства П. И. Ганнибал послал подробное письмо Бенкендорфу, в котором описал все свои злоключения, малые причины к их возникновению и выразил полное свое верноподданство. Это письмо опубликовал Б. Л. Модзалевский в историческом журнале «Дела и дни» в 1920 году. И публикацию завершил словами: «Не можем не отметить грамотности этого письма, столь редкой в то время, равно как и известной его «литературности».

Павел Исаакович Ганнибал скончался в Луге в 1841 году. Варвара Тихоновна пережила его на четверть века.

Мы не имеем прямого подтверждения, но не сомневаемся, что Пушкин знал о злоключениях своего дяди, которого он любил и уважал. Известный исследователь окружения А. С. Пушкина Л. А. Черейский предполагает знакомство поэта с Варварой Тихоновной. То, что Ганнибал был на Соловках,— было известно родным узника и в Петербурге, и в псковских деревнях Ганнибалов. А Пушкин был хорошо знаком с братом соловецкого узника Семеном Исааковичем, который, вероятно, не оставил без внимания исчезновение брата. И, вероятно, Прасковья Александровна Осипова-Вульф знала об этой истории, ибо ее сестра Елизавета Александровна была замужем за Яковом Исааковичем Ганнибалом, другим братом узника [9].

«...И УМЕРШИЙ В СОЛОВЕЦКОМ МОНАСТЫРЕ»

Девятнадцатого мая 1827 года Пушкин впервые после ссылки отправляется в Петербург. Этому предшествовало разрешение царя. «Его величество, соизволяя на прибытие ваше в С.-Петербург, высочайше отозваться изволял, что не сомневается в том, что данное русским дворянином государю своему честное слово вести себя благородно и пристойно будет в полном смысле сдержано»,— читаем мы в письме Бенкендорфа поэту от 3 мая 1827 года.

Жизнь поэта в северной столице, как и в Москве, протекала под неусыпным контролем со стороны властей. Его недельные поездки в Михайловское, в Тверской край, в Москву — только с разрешения Бенкендорфа и под тайным надзором. В эти годы после ссылки Пушкин испытывал два унизительных и весьма напряженных следствия по поводу его «Андрея Шенье» и «Гавриилиады», которые грозили ему новой «немилостью».

В 1828 году, когда началась новая война России с Турцией, Пушкин просил у Бенкендорфа позволения определиться в действующую армию. Но ему отказали, ибо, как полагал великий князь Константин Павлович, Пушкин не имел «другой цели, как найти новое поприще для распространения своих безнравственных принципов, которые доставили бы... множество последователей среди молодых офицеров» [1].

И все же поездка в действующую армию состоялась. Без должного разрешения Пушкин в начале мая 1829 года выехал из Москвы в Тифлис и пробыл в этой поездке до сентября. Следом сразу же последовало распоряжение о секретном надзоре за ним.

Пушкин жадно впитывал впечатления:

Желал я душу освежить
Бывалой жизнию пожить
В забвенья сладком близ друзей
Минувшей юности моей.

(«Я ехал в дальние края»)

В «Путешествии в Арзрум» он описал свою поездку, встречи, эпизоды, которым сам был свидетелем, быт и нравы кавказских народов.

И в этом произведении Пушкин пишет о благоразумном пути просвещения черкесов: «Есть средство более сильное, более нравственное, более сообразное с просвещением нашего века: проповедание Евангелия. Черкесы очень недавно приняли Магометанскую веру. Онн былн увлечены деятельным фанатизмом апостолов Корана, между коими отличался Мансур, человек необыкновенный, долго возмущавший Кавказ против русского владычества, наконец схваченный нами н умерший в Соловецком монастыре».

А. С. Пушкин называет еще одного узника Соловецкой тюрьмы. Естественно, мы им заинтересовались.

В Архангельской областной научной библиотеке, крупнейшем на европейском Севере нашей страны хранилище печатных и рукописных изданий, насчитывающем более 3 миллионов единиц хранения, в отделе редкой книги изучаю книгу М. А. Колчина «Ссыльные и заточенные в острог Соловецкого монастыря в XVI—XIX вв.», изданную в Москве в 1908 году, н номера журнала «Соловецкие острова», которые издавались на острове в конце 20-х годов нашего века. В них ряд статей посвящен нсторин соловецкой тюрьмы. И очень внимательно изучаю большой труд профессора Г. Г. Фруменкова «Узники Соловецкого монастыря», вышедший в Архангельске в 1979 году.

Однако во всех этих работах нет нн малейших упомнинаний об узнике — горце Мансуре. Куда же он делся?

В известных комментариях к пушкинскому «Путешествию в Арзрум» нмя Мансура или совсем не рассматрнвается, или упоминается очень кратко и лишь о том, что этот шейх стоял во главе религиозного движения горцев протнв русских. Даже в довольно пространном нсследовании И. Ениколопова «Пушкин в Грузин» (Тбилиси, 1966 г.) нет ни слова об этом горце.

А личность эта была достойна внимания, н Пушкин потому и не прошел мимо ее.

Шейх-Мансур был внднысм деятелем Кавказской войны конца XVIII века. Настоящее имя его Ушурма. Родился он в селении Алды в Большой Чечне[2]. Наибольшая активность его в повстан-

ческом движении горцев отиосится к 80-м годам столетия, когда (как писал Пушкин в «Кавказском плеииике»):

> На негодующий Кавказ
> Подиялся иаш орел двуглавый,
> Когда иа Тереке седом
> Впервые гряиул битвы гром
> И грохот русских барабаиов...

Проповедиик Шейх-Мансур, поддержаииый Турцией, яростно отстаивал иесовместимость мусульмаиской веры горцев с христиаиской, которую несут с собою русские. Его фанатизм имел большой успех. В 1785 году движеиие сопротивлеиия горцев во главе с Мансуром было столь значительным, что русское командование вынуждеио было вывести гарнизоны из ряда укреплений вдоль Военио-Грузииской дороги, в том числе и их крепости Владикавказ.

Посланиый против Шейх-Мансура отряд под комаидованием полковиика Пиери потерпел 6 июля 1785 года совершенное поражение. Движение Маисура охватило весь Севериый Кавказ. Борьба с ним и явившимися ему иа помощь турками во время второй турецкой войиы 1787—1791 гг. потребовала больших усилий и жертв. Несколько удачиых походов и победа 30 сеитября 1790 года генерала Гермаиа иад многочислеиным отрядом турецкого паши Батал-бея иа берегах Кубаии сломили силу Шейх-Маисура. Он бежал к туркам в Анапу. После взятия Анапы штурмом 22 июия 1791 года Шейх-Мансур попал в плеи.

Мы имеем иемало свидетельств довольно глубокого знаиия истории России еще совсем молодым Пушкииым. Так, о Маисуре он знал давио, ибо еще в 1819 году своего близкого приятеля Павла Мансурова он шутливо иазывал, обыгрывая звучаиие его фамилии,— «чудо-Черкес».

И вот о том, что шейх умер в заключеиии в Соловках, сообщает и достаточно авторитетиый Эициклопедический словарь Ф. Брокгауза и И. Ефроиа. Но ни малейших следов его среди узников Соловецкого моиастыря мы ие иаходим.

Издательство «Книга» в 1987 году к 150-летию со дия гибели А. С. Пушкина выпускает факсимильное воспроизведеиие всех

четырех томов пушкинского журнала «Современник». Пятый том этого прекрасного комплекта — обширные комментарии и указатели, составленные М. И. Гиллельсоном, В. А. Мильчиной и Т. И. Краснобородько. На 42-й странице этого тома читаем: «Мансур-Шейх, который придал религиозную окраску борьбе черкесов с русскими войсками; он был взят в плен в 1791 г. и заключен в Шлиссельбургскую крепость, где и скончался в 1794 г. Пушкин ошибочно полагал, что Мансур был сослан и умер в Соловецком монастыре».

С Шейхом-Мансуром все стало ясно. Но кто ввел в заблуждение Пушкина? Откуда у него ошибочная информация о Соловецком заключении Шейха?

А. С. Пушкин пишет о Мансуре после путешествия на Кавказ в 1829 году. А мы обратимся к первому путешествию поэта в эти благословенные южные края с семейством Раевских в 1820 году. Тогда, прибыв в Феодосию, они остановились в доме градоначальника Семена Михайловича Броневского. Пушкин писал об этом позднее из Кишинева брату Льву: «Из Керча приехали мы в Кефу (турецкое название Феодосии, тогда распространенное.— *И. С.)*, остановились у Броневского, человека почтенного по непорочной службе... Он... имеет большие сведения о Крыме, стороне важной и запущенной».

Да, Броневский был живой энциклопедией Кавказа. Он служил здесь с 1796 года. Все важные кавказские события, укрепившие влияние России в этом крае, случились при нем — тогда начальнике Главной Кавказской канцелярии [3]. И в эти же годы он собирал исторические документы, легенды, предания об этом крае.

И в 1823 году, через три года после посещения Броневского Пушкиным и Раевскими, в Москве выходит его обширное, в двух частях исследование: «Новейшие географические и исторические известия о Кавказе». Это издание не потеряло научной ценности и сегодня. А в то время — это был настоящий кладезь познания Кавказа. Естественно, Пушкин имел в своей библиотеке это издание [4]. И вот в этой, весьма популярной в то время книге и прочел Пушкин: «Лжепророк Шейх-Мансур взят в плен в Анапе в 1791 году и умер на Соловецком острове в заточении».

Из этого издаиия и идет неправильный адрес заключения плеиенного шейха, который доверчиво повторил Пушкин.

«К СТУДЕНЫМ СЕВЕРНЫМ ВОЛНАМ»

1830 год славен в жизни А. С. Пушкина и в отечественной словесности знаменитой «Болдииской осенью».

Пушкин наконец помолвлен с Наталией Гончаровой. Впереди свадьба. Отец поэта, Сергей Львович, выделил сыну часть родового имения Болдиио, и поэту необходимо было ехать в далекую Нижегородскую губернию оформлять права владения недвижимым имуществом. 31 августа Пушкин выезжает из Москвы, имея намерение вскорости вернуться н в этом же году сыграть свадьбу.

В пути он слышит много разговоров об эпидемии холеры и запишет: «По всему видно было, что она не минует н Нижегородской... На дороге встретил я Макарьевскую ярманку, прогнанную холерой. Бедная ярманка! Она бежала, как пойманная воровка...» Речь идет о знамеиитой ежегодной ярмарке, которая проходила у стен Макарьевского монастыря в Нижнем Новгороде.

Приехав в Болдино 3 сентября, Пушкии все необходимые хлопоты по оформлению своих дел поручил вотчинному писарю Петру Кирееву...

Еще перед отъездом, чувствуя душевиый подъем, он напишет П. А. Плетневу: «Осень подходит. Это любимое мое время — здоровье мое обыкновенно крепнет — пора моих литературных трудов настает...» И Пушкин удивительно творит в эти счастливые осенние дни.

На бумагу ложатся строки «Бесов», «Элегии», повести «Гробовщнк», «Сказки о попе и работнике его Балде» и «Сказки о медведихе», повести «Станционный смотрнтель». Затем 15—18 сентября Пушкин пишет главу «Путешествие Онегина», сразу за ней — повесть «Барышня-крестьянка» и восьмую главу «Евгения Онегина». Поразительная плодотворность! И это за неполный месяц!

Но надо и возвращаться в Москву — к невесте. К концу сентября все хлопоты по оформлению владения частью имения за-

кончены, и Пушкин пишет просьбу нижегородскому губернатору о выдаче ему «свидетельства иа проезд» в Москву через цепь карантинов, установленных по случаю холеры. И ждет ответа...

Наступил октябрь. Написаны стихотворения: «Царскосельская статуя», «Румяный критик мой», «Дорожные жалобы», «Прощание», «Паж», «Я здесь, Инезилья», «Перед испанкой благородной» и шутливая поэма «Домик в Коломие», в конце которой поэт запишет: «9 октября в 5 $^3/_4$ вечера».

И вот 10 октября. Пушкин пншет раздумчивые строки о юном Ломоносове — «Отрок».

Невод рыбак расстилал по берегу студеного моря;
 Мальчик отцу помогал. Отрок, оставь рыбака!
Мрежн иные тебя ожидают, нные заботы:
 Будешь умы удовлять, будешь помощник царям.

Вероятно, в этот день приходит ответ от губернатора из Нижнего Новгорода, из которого Пушкин узнает, что въезд в Москву с южных окраин государства запрещен. Этот документ до нас не дошел — Пушкнн отправил его невесте, как доказательство его хлопот о возвращении, и он затерялся [1]. Но то, что отказ губернатора на проезд в Москву пришел именно в этот день, доказывают первые же категоричные строки письма Пушкнна к невесте от 11 октября: «Въезд в Москву запрещен, и вот я заперт в Болдине. Во имя неба, дорогая Наталья Николаевна, напишите мне... Где вы? Уехали ли вы из Москвы? Нет ли окольного пути, который привел бы меня к вашим ногам?.. Ясно, что в этом году (будь он проклят) нашей свадьбе не бывать... Передо мной теперь географическая карта; я смотрю, как бы дать крюку и приехать к Вам через Кяхту или через Архангельск?»

Несомненна взаимосвязь стихотворения о Ломоносове с упоминаннем в письме Архангельска, ибо написаны они одновременно. Вероятно, размышления об «окольном пути» обратили поэта к Северу России и отсюда возникли поэтические раздумья об отроке Ломоносове. Легко можно представить ассоциативный ход мыслей Пушкина, когда на бумагу легли слова о крайнем Севере и от них дохнуло хладом суровых Соловков. Пушкин помнил о том, что ему угрожало весной 1820 года, от чего его спасло заступничество друзей.

А через несколько дней, около 16 октября Пушкин пишет загадочный отрывок. Приведем его полностью:

Когда порой воспоминанье
Грызет мне сердце в тишине,
И отдаленное страданье
Как тень опять бежит ко мне;
Когда, людей повсюду видя,
В пустыне скрыться я хочу,
Их слабый глас возненавидя,—
Тогда, забывшись, я лечу
Не в светлый край, где небо блещет
Неизъяснимой синевой,
Где море теплою волной
На пожелтелый мрамор плещет,
И лавр и темный кипарис
На воле пышно разрослись,
Где пел Торквато величавый,
Где и теперь во мгле ночной
Далече звонкою скалой
Повторены пловца октавы.
Стремлюсь привычною мечтою
К студеным северным волнам
Меж белоглавой их толпою
Открытый остров вижу там.
Печальный остров — берег дикой
Усеян зимнею брусникой,
Увядшей тундрою покрыт
И хладной пеною подмыт.
Сюда порою приплывает
Отважный северный рыбак,
Здесь невод мокрый расстилает
И свой разводит он очаг.
Сюда погода волновая
Заносит утлый мой челнок.

Прочтением этого стихотворения мы обязаны Б. В. Томашевскому, который в 1934 году сумел «расшифровать» многократно перечеркнутые, поправленные, часто сокращенные, неразборчивые строки черновой рукописи. Беловая не сохранилась. Ясно, что это отрывок, а не законченное стихотворение, которое еще в начале нашего столетия окрестили «загадочным». Б. В. Томашевский сделал, казалось, невозможное... Он дал связный текст и объяснил, что отрывок стихотворения «...не разгадывается до

конца, и все-таки оно красноречиво, как известная строка «И я бы мог, как шут», над рисунком пяти повешенных»[2]. Это следует понимать так, что вторая часть стихотворения адресует нас на Соловецкий остров, куда предполагалась ссылка поэта в 1820 году. Ученый ограничился лишь догадкой, не развивая обоснования ее, но это интересное соображение Б. В. Томашевского и служило комментарием ко всем публикациям этого отрывка.

Однако в 1963 году Анна Ахматова в статье «Пушкин и Невское взморье» предложила следовать за мыслями поэта в этом стихотворении не на Соловки, а на остров Голодай, на окраине Петербурга, где, по преданию, были тайно погребены тела казненных декабристов»[3].

Это поэтическое предположение А. А. Ахматовой очень интересно, но текстологическое обоснование его недостаточно. Ведущим аргументом Анна Андреевна выдвигает сходство описания северного острова в приведенном отрывке с островом в описании Невского взморья в «Медном всаднике»:

...Остров малый
На взморье виден. Иногда
Причалит с неводом туда
Рыбак на ловле запоздалый
И бедный ужин свой варит,
Или чиновник посетит,
Гуляя в лодке в воскрссенье,
Пустынный остров.

Да, сходство есть. Но есть и противоречия. В отрывке: «Сюда порою приплывает отважный северный рыбак» (подчеркнуто мною.— *И. С.*). Но какая нужна отвага для плавания на остров, который свободно может посетить праздный чиновник, «гуляя в лодке в воскресенье»?

Если внимательно просмотреть литературу, относящуюся ко времени написания этого отрывка,— с ним можно сопоставить стихотворение К. Н. Батюшкова «Послание И. М. Муравьеву-Апостолу», в котором есть строки:

Стремился по зыбям холодным океана
К необитаемым, бесплодным островам
И мрежи расстилал по новым берегам.

Впечатление такое, что Пушкин прекрасным стихом написал ту же картину, теми же словами, что и Батюшков. И кажется, что это стихотворение «учителя Пушкина» имело самое прямое влияние на строки загадочного отрывка. В нем тоже есть противопоставление Севера роскошному югу:

Но там ли, где всегда роскошная природа
И раскаленный Феб с безоблачного свода
Обилием поля счастливые дарит,
Таланта колыбель и область пиерид?
    Нет! Нет! И в Севере любимец их не дремлет,
Но гласу громкому самой природы внемлет...
Пустыни снежные, льдов вечные громады.

Строки Батюшкова посвящены мужанию юного Ломоносова на родине, на Беломорье.

Возникает мысль, что Пушкин в загадочном отрывке благодатному югу противопоставляет именно Беломорские края. А пустынный остров — это Соловецкий, который и ныне еще достаточно пустынный; селения на нем лишь около монастыря. И плавания к ним в десятки миль от берегов Белого моря требуют немалой отваги. Эти промысловые плавания совершали поморы, и в том числе отец и сын Ломоносовы.

Есть еще одно текстологическое подтверждение приполярного адреса неизвестного острова. Читаем начало второй части отрывка: «Стремлюсь привычною мечтою к студеным северным волнам» (подчеркнуто мною.— *И. С.*). А теперь попробуем найти слово «студеный» в поэме «Медный всадник», где в обширном описании разбушевавшейся стихии «...дышал ноябрь осенним хладом». Оно было бы весьма уместно. Но его нет. Поэт в своих текстах только шесть раз использовал это слово. Притом четыре раза оно относилось к студеной воде, и только дважды это слово Пушкин применил при описании холодных — студеных мест [4]. Однажды в приведенной строке загадочного отрывка, а другой — в известном уже нам, несколькими днями раньше написанном стихотворении «Отрок» («Невод рыбак расстилал по берегу студеного моря!). Можно заключить, что эпитет «студеный» Пушкин в загадочном отрывке также относит к приполярным широтам. И заметим сходство в этих стихотворениях: в «Отроке» — «невод

рыбак расстнлал», как и через несколько дней в отрывке — «Невод мокрый расстилает».

Несомненно, одна нз причин единого «студеного» адреса в «Отроке» и в отрывке — в близости времени написання этнх строк.

Нельзя не указать н на другне текстологнческне прнзнаки приполярного адреса острова. На пушкннской черновой запнсн отрывка с трудом, но чнтаются зачеркнутые слова «чахлый мох едва растет», а строка «И хладный пеною подмыт» прямо указывает на прибой холодиого моря. (На острове Голодай у Петербурга по прнчине отдаленностн от моря прибоя не было и нет).

Анна Ахматова первая из нсследователей этого отрывка Пушкнна обратнла вннманне на сходство строф его со строфамн «Онегииа». В самом деле: сравним вторую часть этого стнхотворення с любой строфой пушкннского романа н увидим, что в строфе отрывка тоже 14 строк, как и в оиегннской. Первые восемь строк по построенню рнфмы точио следуют онегннской строфе, ио далее вместо охватной рифмы (а в в а) ндет перекрестная (а в а в), и две завершающне строки не нмеют смежную (а а) рифму.

В первой же частн нашего отрывка не 14 строк, как в онегинской строфе, а 18. Но если мы отсечем последине 4 строкн, то увидим полную онегнискую строфу, размеру которой не соответствуют 6-я н 7-я строкн — ио еслн их поменять местами, смысл не меняется. Как виднм, расхождение с онегниской строфой незначительиое.

Следующее серьезное исследованне этого стихотворения предпринял Н. И. Клейман[5]. Работая над автографом, вслед за Б. В. Томашевскнм он вннмательно изучил каждое зачеркнутое и оставленное слово, и его прочтение несколько уточнило уже известный нам текст. Ученый установил, что закономерностям онегинской строфы из 32 строк отрывка подчиняются 28, которые формнруют две ранее нензвестные строфы «Евгення Онегина». Интересен и его вывод о том, что этн строфы по строю мысли должны были войти в главу «Путешествня Онегина».

Следуя этой мыслн, Пушкнн не стал бы описывать поездку Онегина по прнвычным окрестностям Петербурга. А вот на Север

он его отправить мог, тем более что по внутренней хронологии романа Онегин был в путешествиях около трех с половиной лет [6]. В эти годы он мог посетить не только известные по неоконченному тексту «Путешествия» Новгород, Нижний Новгород, Астрахань, Кавказ, Крым, Одессу, но совершить поездку и на Север. Ведь в самом начале путешествия:

Уж Русью только бредит он
. . . .
Онегин едет; он увидит
Святую Русь: ее поля,
Пустыни, грады и моря.

Планы Онегина обширны, и в них могло быть и посещение северных губерний России.

Путешествия Онегина — это мысленные и в какой-то степени осуществленные путешествия самого Пушкина. Пушкин стремился посетить те места, где вершилась история. Вспомним его поездку в Киев, розыски им могилы Мазепы; посещение Казани; Нижнего Новгорода; поездку по пугачевским местам. История петровского и послепетровского времени волновала поэта, первые «Заметки по русской истории XVIII века» им написаны еще в августе 1822 года. «История Петра», над которой он плодотворно работал в конце жизни, по существу, всегда интересовала его. Вскоре после Болдинской осени, в 1831 году, Пушкин сообщает Бенкендорфу о своем «давнем желании... написать историю Петра Великого и его наследников до государя Петра III...». И Пушкин знал, что преобразователь России счел необходимым трижды посетить Беломорье и его столицу — Архангельск, единственный в то время порт огромной страны, где царь заложил основу отечественного морского кораблестроения.

И в Болдинскую осень, когда 10 и 11 октября он пишет стихотворение о Ломоносове «Отрок» и письмо, в котором упоминает Архангельск, он тоже думает о Петре. Ибо последняя строка стихотворения «Отрок» первоначально была записана так: «Будешь умы уловлять, будешь подвижник Петру».

Поэтому не исключено, что исследуемый загадочный отрывок (если допустить, что это — онегинское «Путешествие») — не что

иное, как попытка Пушкина послать Онегина познакомиться с беломорским Севером.

А быть может, эти две строфы предназначались для «декабристской» главы? Они написаны около 16 октября, а 19 октября эту главу Пушкин сжигает. Кстати, знаменитая «шифровка» этой десятой главы записана на той же бумаге (№ 43), что и загадочный отрывок и «Отрок». И смысл строк можно соотнести с ее содержанием, ибо зловещая репутация Соловков была широко известна. И многих декабристов, как мы уже знаем, первоначально замышлялось отправить именно на Соловки.

Однако вернемся в октябрьские дни болдинского заточения Пушкина в 1830 году. Дни идут. В октябре написаны повести «Выстрел» и «Метель»; написана, зашифрована и сожжена десятая глава «Евгения Онегина»; драматические произведения «Скупой рыцарь» и «Моцарт и Сальери»; стихотворения, статьи и письма...

И хотя Пушкин дорожит вдохновением, мысли о скорейшем возвращении к невесте постоянно беспокоят его. Надежд на то, что холерные карантины ослабнут, нет никаких, и он пишет 29 октября Наталье Гончаровой: «Если вы в Калуге, я приеду к вам через Пензу; если вы в Москве, то есть в московской деревне, то приеду к Вам через Вятку, Архангельск и Петербург. Ей-богу не шучу...»

Снова — кружной путь, и снова упоминается Архангельск. Но это уже реальный маршрут. И этот же маршрут Пушкин снова повторит в письме к невесте от 4 ноября. Значит, поэт всерьез думает о вынужденной поездке кружным путем через северные губернии России.

Вероятно, намерение Пушкина посетить Архангельск вызвано и тем, что в это время гражданским губернатором там служит давний его приятель — поэт, прозаик, переводчик Владимир Сергеевич Филимонов, автор широко известной поэмы «Дурацкий колпак»[7]. Пушкин знал, что Филимонов находится в Архангельске; подтверждением тому является письмо к Пушкину Ф. Н. Глинки от 17 февраля 1830 года из Петрозаводска, где он

служил в зто время. В зтом письме есть строка: «Фнлимоиов, нз Архаигельска, прислал мие свой «Дурацкий колпак» н прекрасные стихи ваши к нему».

Но ехать кружным путем Пушкин так н не решился. Пошлн слухи об ослаблеиии карантиов, да н не отпускало удивительное вдохновение, счастливо поселнвшееся с позтом в Болдино. В ноябре написаиы: драматические произведеиия «Каменный гость» и «Пир во время чумы», прозаическая «История села Горюхнна», предисловие к «Евгению Онегину», шесть стихотворений, четыре литературио-критическнх статьи и письма невесте, друзьям и родным.

И лишь 28 иоября дворовые люди Болдина проводнли его в неблизкнй путь иа Москву. Задержкн в карантинах были уже не столь строги, и 5 декабря Пушкии приехал в Москву.

ИЗ «ДНЕВНИКА» ЦЕНЗОРА

Россия, встревожениая восстаиием декабристов, всматривалась в самое себя. На ее окраниах процветали беззаконие, самоуправство властей, безграмотность, отупенне н пьянство.

Подвиг декабристов хоть немиого встряхиул пернферийную действительиость, заставил задуматься: во нмя чего подиялись «сытые и грамотиые» дворяне? Неужели что-то можно в этой жизии нзменить?

Оказывается, можно. На Беломорье долгие годы самоуправно властвовал генерал-губернатор огромного севериого края С. И. Мницкий. Пользуясь неограиниченной властью и окружив себя подобострастными чииовииками, он погряз в злоупотреблениях, взяточничестве и коррупции. Но вот в 1828 году в Архангельск, получнв назначение иа должность вице-губернатора, приезжает Алексаидр Ефимович Измайлов, известиый баснописец, автор уже нескольких изданнй «Басен и сказок». А. С. Пушкии хорошо знал этого добродушного, остроумиого и глубоко честного человека, они часто встречались в литературиых салоиах Петербурга. Так, 6 декабря 1827 года на именииах у Н. И. Греча Измайлов читал свои забавиые куплеты в честь хозяиина. «Пушкии был в восторге от иих, списал и повез к Карамзиной» [1].

И вот Измайлов приехал в Архангельск. В одном из писем он писал: «Кажется, могу похвастаться, что после Ломоносова до меня не было в Архангельске ни одного известного поэта...» [2] Очень скоро Измайлов столкнулся с властительностью Миницкого и его чиновным окружением. Пытаясь «вывести на свежую воду все плутни» генерал-губернатора, он направил в Петербург сообщение о злоупотреблениях его. Но борьба была неравной. Миницкий успел заранее сам явиться в Петербург и оклеветать своего подчиненного. Указанием Министерства внутренних дел Измайлов был отстранен от должности и весной 1829 года вернулся в Петербург. «Лучше быть отставлену за правду, нежели за участие и связи с плутами и ворами»,— скажет в заключении этой службы Измайлов.

Но борьбу с Миницким подхватил гражданский губернатор Архангельска Владимир Сергеевич Филимонов, который прибыл в столицу Беломорья в конце 1828 года. Северу везло на литераторов, ибо Филимонов также был известным в то время поэтом, прозаиком, журналистом. Он был автором прозаических записок «Искусство жить», сборника «Проза и стихи». В 1828 году он подарил А. С. Пушкину первое издание своей поэмы «Дурацкий колпак», сопроводив его стихами:

А. С. Пушкину

Вы в мире славою гремите;
Поэт! в лавровом вы венке.
Певцу безвестному простите:
Я к вам являюсь — в колпаке.

Пушкин сразу ответил стихотворением:

В. С. Филимонову

При получении поэмы его «Дурацкий колпак»

Вам музы, милые старушки,
Колпак связали в добрый час,
И, прицепив к нему гремушки,
Сам Феб надел его на Вас.

Хотелось в том же мне уборе
Пред вами нынче щегольнуть

И в откровенном разговоре,
Как вы, на многое взглянуть;

Но старый мой колпак изношен,
Хоть и любил его поэт;
Он поневоле мной заброшен:
Не в моде нынче красный цвет.

Итак, в знак мирного привета,
Снимаю шляпу, бью челом,
Узнав философа-поэта
Под острожным колпаком.

Пушкин бывал у Филимонова дома, встречались они и у А. А. Перовского.

И вот прогрессивно мыслящий Филимонов, знакомый не только с Пушкиным, но и в свое время с А. А. Бестужевым, Н. М. Карамзиным и другими, оказавшись в Архангельске, также нетерпимо отнесся к злоупотреблениям Миницкого. Его рапорты в Петербург стали достигать цели, и в 1830 году генерал наконец был удален. Но пострадал и Филимонов. В Петербурге в это время шло следствие по делу Н. П. Сунгурова, который пытался создать тайное общество; оно, по словам его создателя, «было остаток от Общества 14 декабря 1825 года и имело целью конституцию» [3]. Среди участников этого движения распространялись сведения, что архангельский губернатор Филимонов якобы обеспечит в случае провала восстания побег за границу через северный порт. Это стало известно правительству, и в июле 1831 года Филимонов в сопровождении фельдъегеря был доставлен из Архангельска... прямиком в Петропавловскую крепость. Следом пришли опечатанные бумаги губернатора, и в них нашли старые письма к нему декабристов Г. С. Батенькова, А. Н. Муравьева, выписки из Конституции Никиты Муравьева. Правительству вспомнилось постоянное «вольнодумство» Филимонова, его знакомство с Пушкиным и многими декабристами.

Филимонов убедил следствие в своей непричастности к противоправительственным замыслам, но подозрение осталось, и он был сослан в Нарву без права въезда в столицы.

Наш рассказ о Соловках. Губернаторы А. Е. Измайлов и В. С. Филимонов по характеру своей службы обязаны были по-

бывать во многих уездах обширной губернии, но в их записях об этих островах нет упоминаний.

Зато другой литератор того времени, также побывавший на беломорском Севере, оставил о Соловецкой обители интересные записи в своем «Дневнике». Это Александр Васильевич Никитенко — служащий Цензурного комитета, профессор словесности Петербургского университета, впоследствии академик. Он посетил северные губернии летом 1834 года, сопровождая в поездке попечителя Петербургского учебного округа и председателя Цензурного комитета М. А. Дондукова-Корсакова. Они знакомились с работой учебных заведений и общим положением дел на Севере.

А. С. Пушкин хорошо знал Никитенко, а позднее и Дондукова-Корсакова. Отношения с цензорами у литераторов, в том числе и у Пушкина, были очень сложными. Взаимная зависимость нередко затмевала добрые качества и авторов и цензоров, мешала взаимопониманию и возникновению дружеских отношений. Так А. С. Пушкин написал широко известную резкую эпиграмму на М. А. Дондукова-Корсакова:

В Академии наук
Заседает князь Дундук...

А позднее, по утверждению С. А. Соболевского, «жалел» об этом, «когда лично узнал Дундука» [4].

Сложными были у Пушкина отношения и с цензором А. В. Никитенко. Познакомились они 8 июня 1827 года у А. П. Керн. Никитенко записал в своем «Дневнике: «Никто из русских поэтов не постиг так глубоко тайны нашего языка, никто не может сравниться с ним живостью, блеском, свежестью красок... Ничьи стихи не услаждают душ такой пленительной гармонией» [5]. Затем Никитенко встречал Пушкина у П. А. Плетнева, у Н. И. Греча и других.

Никитенко приходилось исполнять строгий цензурный устав, а в отношении Пушкина и прямые указания министра просвещения С. С. Уварова. Это не способствовало дружбе. Сам А. В. Никитенко нередко с болью пишет в своем «Дневнике» о жестокости цензуры, «о «свирепом преследовании идей, без которых...

ни одно государство не может идти вперед по пути к могуществу и благоденствию» [6].

В другом месте: «У нас на образование смотрят как на заморское чудище: повсюду устремлены на него рогатины; немудрено, если оно взбесится» [7].

А. В. Никитенко всю свою сознательную жизнь писал дневник. Три тома его — выразительный документ литературно-политической истории России XIX столетия, одно из самых впечатляющих произведений мемуарной литературы минувшего века.

И вот в этом «Дневнике» современник Пушкина подробно живописует северные губернии того времени. Отметим, что это было время, когда лучшие умы России, вдохновленные отчаянной решимостью декабристов, искали пути обновления жизни. И среди них были недавно назначенные архангельские адмирал-губернатор Роман Романович Галл и гражданский губернатор Илья Иванович Огарев. С большим уважением пишет о них А. В. Никитенко: «Теперь губерния по возможности благоденствует под начальством двух простодушных и добрейших людей: адмирала Галла и гражданского губернатора Огарева. За последним, кроме того, важная заслуга: он объявил войну ворам и взяточникам и сам не поддается никаким соблазнам, хотя их много в таком торговом городе, как Архангельск. Огарев... с величайшим рвением заботится о просвещении... И вот и военный губернатор жаловались, что все их представления об устройстве и благосостоянии губернии остаются без всякого действия в Петербурге. В прошлый голодный год Огарев благоразумными мерами прокормил всю губернию: за это ему не сказали и спасибо» [8].

Но по теме нашего рассказа особо интересными кажутся нам заметки Никитенко о Соловках:

«Посетили мы и Соловецкий монастырь. Остров Соловецкий имеет семнадцать верст в ширину и двадцать пять в длину. Монастырь на нем — один из древнейших в России. Монахов насчитывается более ста. Замечательно при монастыре отделение, где содержатся государственные преступники. Они ссылаются сюда на бессрочное заточение, большею частью на всю жизнь. Ныне сих несчастных сорок человек — между прочим, два студента Московского университета за участие в заговоре против государя.

Недавно один из заключенных, А. С. Горожанский, сосланный в монастырь за соучастие с декабристами, в припадке сумасшествия убил сторожа. Каждый из заключенных имеет отдельную каморку, чулан, или, вернее, могилу: отсюда он переходит прямо на кладбище...» [9]

Как видим, монастырские власти ничего не скрывают от высокопоставленных чиновников. Но нужно и помнить, что эти записки увидели свет лишь в конце 80-х годов XIX века, а современники Пушкина этих подробностей не знали. Но продолжим рассказ Никитенко:

«Всякое сообщение между заключенными строго запрещено. У них нет книг, ни орудий для письма. Им не позволяют даже гулять на монастырском дворе. Самоубийство — и то им недоступно, так как при них ни перочинного ножика, ни гвоздя. И бежать некуда — кругом вода, а зимой непомерная стужа и голодная смерть, прежде чем несчастный добрался бы до противоположного берега.

Между достопримечательностями монастыря — мечи Пожарского и Скопина-Шуйского, украшенные драгоценными камнями. Здесь погребен Авраамий Палицын. В монастырской библиотеке много древних рукописей и грамот. Теперь в монастыре уже более шести недель живет Бередников, товарищ Строева. Он занимается разборкою архива и выписками из находящихся в нем сокровищ. Монахи на него негодуют, потому что он не показывает им своих выписок и извлечений...»

Далее Никитенко пишет о настоятеле монастыря Досифее, его работе над историей этой знаменитой обители, о старообрядчестве на Севере России...

Поясним цитату. В архиве монастыря с разрешения Синода работал Я. И. Бередников, помощник известного в России археолога и историка Павла Михайловича Строева. Пушкин был знаком с ученым и хорошо знал его творчество. Они вместе сотрудничали в «Московском вестнике» М. Погодина [10]. Пушкин высоко ценил работу Строева «Ключ к Истории государства Российского Н. М. Карамзина» и после опубликования ее в Москве в 1836 году, в четвертом выпуске своего «Современника» поместил краткую заметку об этом знаменательном событии. Он писал: «...Стро-

ев оказал более пользы русской истории, нежели все наши историки с высшими взглядами, вместе взятые... Строев облегчил до невероятной степени изучение русской истории...»

Возвратясь из поездки на Север, А. В. Никитенко стал работать над изданием «Поэм и повестей А. С. Пушкина» и «Стихотворений Александра Пушкина», которые увидели свет в 1835 году. Есть основания предполагать, что цензор поделился с Пушкиным своими северными впечатлениями.

А. В. Никитенко с великой скорбью встретил известие о кончине А. С. Пушкина. Он нашел мужество на заседании Цензурного комитета резко не согласиться с указанием министра Уварова о новой цензуре уже известных всей России пушкинских произведений при подготовке первого посмертного собрания сочинений. Протест Никитенко поддержал В. А. Жуковский, который добился у императора разрешения печатать без изменения уже известные сочинения поэта.

Никитенко записал в «Дневнике»: «Спрашивается: можно ли что-либо писать и издавать в России? Поневоле иногда опускаются руки, при всей готовности твердо стоять на своем посту охранителем русской мысли и русского слова. Но ни удивляться, ни сетовать не должно» [11].

Объективности ради скажем, что Никитенко никогда не имел революционных устремлений. Напротив, он был осторожным и умеренным чиновником либерального толка. Но его душу весьма беспокоили противоречия: «Часто, очень часто... я бываю поражен глубоким, мрачным сознанием своего ничтожества... О, кровью сердца написал бы я историю моей внутренней жизни! Проклятое время, где... общество возлагает на вас обязанности, которое само презирает...» [12] Вот такими мыслями заканчивает он записи в 1841 году.

«ОТПРАВИЛСЯ К СОЛОВЕЦКОМУ МОНАСТЫРЮ...»

Так пишет А. С. Пушкин о Петре в своем незавершенном труде «История Петра I». Он дошел до нас в виде обширного подготовительного текста, с которого Пушкин имел намерение напи-

сать «Историю» в короткий срок, как он сам выразился — «в год или в течение полугода».

Пушкин изучил немало печатных исторических источников, а с начала 1832 года с разрешения Николая I работал в архивах. В июне 1834 года он писал жене: «Петр I идет, того и гляди, напечатаю 1-й том к зиме». Но надежды не сбылись.

О Пушкине-историке есть немало свидетельств его современников. Приведем лишь два, относящиеся к году смерти поэта. Михаил Андреевич Коркунов — археограф, преподаватель Московского университета — пишет 4 февраля 1837 года издателю «Московских Ведомостей»: «С месяц тому Пушкин разговаривал со мной о русской истории; его светлые объяснения древней Песни о полку Игореве, если не сохранились в бумагах, невозвратимая потеря для науки; вообще в последние годы жизни своей, с тех пор, как вознамерился описать царствование и деяния Великого Петра, в нем развернулась сильная любовь к историческим знаниям и исследованиям отечественной истории. Зная его, как знаменитого поэта, нельзя не жалеть, что вероятно лишились в нем будущего историка» [1]. А старший друг поэта Александр Иванович Тургенев пишет на другой день после смерти поэта И. С. Аржевитинову: «Последнее время мы часто виделись с Пушкиным... я находил в нем сокровища таланта, наблюдений и начитанности о России, особенно о Петре и Екатерине, редкие, единственные... Никто так хорошо не судил русскую новейшую историю: он созревал для нее и знал и отыскал в известность многое, чего другие не заметили» [2].

Итак, Пушкин завершил собственный свод подготовительных текстов «Истории Петра I». Ознакомившись с этим трудом после смерти поэта, Николай I указал: «Сия рукопись издана быть не может...» [3], ибо Пушкин очень объективно отразил в ней не только положительные и весьма прогрессивные, но и отрицательные стороны личности Петра, его беспощадное, хоть и во имя великих целей, угнетение простого трудового народа. Вот тезис Пушкина: «Достойна удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть плод ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые нередко жестоки, своенравны и, кажется, пи-

саны кнутом. Первые были для вечности или по крайней мере для будущего,— вторые вырвались у нетерпеливого самовластного помещика».

Время не пощадило пушкинскую рукопись «Истории Петра». Она была потеряна еще в прошлом столетии и обнаружена в 1917 году, вместе с цензурной копией. Но из 31 пушкинской тетради уцелело только 22, а из 6 томов цензурной копии — лишь три. После некоторых последующих находок все же недостает частей, посвященных 1690—1694 и 1719—1721 годам.

Таким образом, мы не располагаем пушкинским текстом о двух приездах Петра на Беломорье в 1693 и 1694 годах и о путешествии Петра в 1694 году на Соловки. Факты же таковы.

4 июля 1693 года двадцатилетний царь отправился из Москвы на Север, в единственный морской порт России — за «морской наукой», пообещав матери Наталье Кирилловне в море не выходить, а только посмотреть его с берега[4]. Царя сопровождала свита около 100 человек. 30 июля Петр прибыл в Архангельск и остановился в специально для него срубленной «светлице с сеньми». Царя встречали колокольным звоном и пушечной пальбой. Слово, данное матери, молодой царь исполнить никак не мог, не мог удержать себя, и 6 августа на двенадцатипушечной яхте «Святой Петр», построенной к приезду Петра русскими плотниками под руководством иноземных корабельных мастеров, вышел в Белое море, впервые увидел бескрайние просторы, и они навсегда покорили сердце юного царя.

В Архангельске Петр пробыл до 19 сентября. Он окунулся в бурную жизнь большого портового города, встречал и провожал иностранные торговые суда и скорбел об отсутствии русских кораблей и своей русской внешней торговли. Решительный царь тут же принял решение об основании в устье Двины верфи морского судостроения и самолично заложил первый торговый корабль. И вернулся в Москву. Но для контроля за «корабельным строением» Петр оставил воеводой в Архангельске своего друга и помощника Федора Матвеевича Апраксина.

Едва вскрылись реки весной следующего 1694 года, Петр поспешил «на Двину». Выехал из Москвы 8 мая, а 18 уже прибыл в Архангельск и остановился в прежних своих хоромах.

А 20 мая, в день спуска первого российского большого торгового судна «Святой Павел», Петр сам «подрубил подпоры». Это был праздник! Праздник Петра, морского флота России, праздник российской истории.

1 июня Петр на яхте «Святой Петр» отправился на легендарные Соловки и во время этого плавания получил настоящее морское крещение. Внезапный сильный шторм едва не погубил небольшой корабль и его экипаж, и лишь опыт и морское искусство помора-кормщика Антипа Тимофеева помогли избежать катастрофы. Судно встало на якорь в бухте у Пертоминской обители. Петр щедро наградил кормщика. 6 июня яхта снова отправляется в путь, и на следующий день Петр сошел на берег Большого Соловецкого острова. Кремлевские стены и соборы монастыря восхитили царя. Он внимательно осмотрел строения и сам остров. Одарив монахов, 10 июня Петр отправился в обратный путь. Эти три дня первого [4] пребывания Петра на Большом Соловецком острове широко отражены в исторической литературе. Пушкин мог прочесть об этом путешествии молодого царя в изданиях, которые мы перечислили в первой главе. Известна была и специальная работа Н. И. Новикова «О высочайших пришествиях Петра Великого на Двину», изданная в 1783 году.

После поездки на Соловки царь еще жил в Архангельске долго. Дни проводил в хлопотах по усилению морского судостроения и внешнеторговой жизни этого морского порта. 21 июля сюда прибыл давно ожидаемый купленный в Голландии 44-пушечный фрегат, который Петр окрестил «Святое пророчество». И вот на трех первых русских морских кораблях Петр вышел в плавание и проводил армаду из восьми иностранных торговых судов до самого выхода из Белого моря, дохнул студеного воздуха огромного Ледовитого «батюшки-океана». 20 августа Петр вернулся из этого плавания, а 26-го отправился на Москву. А перед тем наказал Апраксину отправить оба крупных корабля «Святой Павел» и «Святое пророчество» — с русским товаром во Францию и в Голландию, что и было исполнено. Так началось русское торговое мореплавание.

В последующие годы архангельская верфь благодаря усердию воеводы ежегодно спускала на воду 1—2 корабля. Апраксина

Петр призвал к себе из Архангельска в 1796 году. Внимание Пушкина к личности Апраксина значительно. Более ста раз обращается он в «Истории Петра» к имени этого архангельского воеводы, а затем первого генерал-адмирала русского флота, члена Верховного тайного совета.

Третий приезд Петра в Архангельск в 1702 году и поход его на Соловки и далее нашел отражение в конспектах Пушкина. Он пишет: «Петр... отправился к Соловецкому монастырю на 4 своих и 6 нанятых голландских кораблях со своею гвардией...» К тому времени «своих» кораблей было уже более десяти, но они находились в торговых плаваниях. И Петр в Архангельске нанял на несколько дней голландские суда для перевозки большого отряда в 4 тысячи солдат-преображенцев. Отдохнув в Соловках, армада судов с войском отправилась далее и высадилась на западном побережье Белого моря у деревни Нюхчи. (У Пушкина — «прибыл в деревню Нюхча...».) Это небольшое войско, прорубая перед собой «осудареву дорогу», проволокло по суше два фрегата, спустило их на Онежское озеро, затем по реке Свирь суда перешли в Ладожское и ударили в тыл шведам, разгромив при этом их флотилию; захватили Нотебург (древний русский Орешек). Все течение Невы оказалось в руках России, и здесь весной следующего, 1703 года был заложен Петербург. Так через Архангельск и Соловки уже умудренный 29-летний Петр во главе войска осуществил неожиданный для шведов очень важный рейд, который вывел страну к берегам Балтийского моря. Пушкин этот рейд Петра описал весьма и весьма подробно, и запись эта исполнена восхищения.

Имена сподвижников Петра одно за другим появляются на страницах рукописи Пушкина. Судьба некоторых из них после смерти Петра сложилась трагично.

Пушкин многократно упоминает имя наперсника и любимца Петра, дипломата, долгие годы бывшего русскими послом в Турции сенатора Петра Андреевича Толстого. Это он сумел заставить оппозиционно настроенного царевича Алексея вернуться в Россию и держать ответ перед отцом-императором. П. А. Тол-

стой оставил след не только в истории России, но и в истории семейства Пушкнных.

Именно благодаря стараниям посла в Турции П. А. Толстого и его помощника С. Л. Рагузииского мальчик-арап Ибрагим был тайио вывезеи из Стамбула в подарок Петру, который впоследствни стал знаменнтым крестником и помощииком царя — Абрамом Петровичем Ганнибалом — прадедом А. С. Пушкина. ...Толстой и его сын Иваи — оба окончнли свои дни в сыром каземате тюрьмы Соловецкого монастыря.

Петр Андреевнч после смерти Петра I решительно выступил противнником притязаний всесильного Меншикова на неограниченное влияние на монархов, выступил против женитьбы на дочери Меньшикова наследника престола Петра II. В этой борьбе Меншиков оказался сильнее, н Маннфестом от 27 мая 1727 года «мятежник» П. А. Толстой был приговорен к смертной казни. Екатерина I смягчнла приговор и распорядилась отправить Толстого с сыном на Соловки и «велеть им в том монастыре отвесть келью, и содержать его, Толстого с сыном, под крепким караулом: писем писать не давать, токмо до церкви пущать за караулом же, н довольствовать братцкою пищею» [5].

Путь от Санкт-Петербурга до Архангельска занял свыше месяца. Губернатор столицы северного края Иваи Измайлов доносит правительству, что 13 июия он принял ссыльных Толстых и в тот же день отправил нх в Соловецкий монастырь.

Вначале караул по охране ссыльных на островах иесла команда из двенадцати солдат Архангельского гарнизоиного полка во главе с поручиком Ннкитой Кузьминым. Однако в Петербург стали поступать доносы о «благоволии» к узникам вследствие хоть н бывшего, но слишком значительного сана Петра Андреевича Толстого, со стороны губериатора Измайлова и архимандрнта монастыря Варсоиофия. Известны донос инока Соловецкого монастыря Гордияна о том, что настоятель монастыря Варсонофий посылал Толстым напитки в серебряных кубках и даже сам через тайный ход навестнл узииков, н доиос подполковиика Хрипунова о том, что губернатор генерал-майор Измайлов посылал Толстым «пнсьмо и гостинцы...» [6]. И уже в августе этого же 1727 года на остров прибыла охранная команда лейб-гвардии Семеновского

полка во главе с лейтенантом Лукой Перфильевым. Он имел уже новую инструкцию по охране узников, которая значительно ужесточала режим их содержания. Отца с сыном разлучили, поместив их в разные камеры, выход из которых был запрещен даже в тюремную церковь. «И те тюрьмы имеютца холодные, а пища им, Толстым, даетца братцкая, какова в которой день бывает на трапезе братии, по порцы едниного брата». Каземат был настолько сырым, что узники заживо гнили в нем. Летом 1728 года умер Иван, а 30 января 1729 года и старик Петр Андреевич Толстой, которому к тому времени было 83 года. Перед смертью П. А. Толстой, помня доброе к нему отношение архимандрита монастыря Варсонофия, велел отдать «пожитки свои» в казну «Зосимы и Савватия», то есть монастыря. Похоронили монахи Петра Толстого на самом почетном месте — внутри монастырской ограды, на западной стороне Преображенского собора.

Многократно в пушкинской «Истории Петра» звучит имя и другого сановника, члена Верховного тайного совета, сенатора Василия Лукича Долгорукого, известного многими дипломатическими и прочими заслугами в царствование Петра. После смерти императора он сохранил влияние и в царствование Екатерины I и Петра II. Но при воцарении Анны Иоанновны В. Л. Долгорукий был одним из инициаторов ограничения ее власти Верховным советом, членом которого он был. За то и поплатился. Укрепившись на троне, Анна, её фаворит Бирон и немецкое окружение императрицы стали изводить прежде блиставших при дворе русских вельмож. Василия Лукича не спасла даже былая любовная связь с Анной, и 14 апреля 1730 года был обнародован царский Манифест о «жестоком государственном преступлении» могущественного сановника Василия Лукича Долгорукого. Перечисление придуманных прегрешений сенатора занимает значительное место в манифесте, по которому он был сослан в свою деревню в Пензенскую губернию, где содержался под охраной невыездно. Но кровожадному Бирону это наказание показалось незначительным, и он добивается у Анны ужесточения репрессий к Долгорукому. В июле этого же года в Архангельск был направлен Указ цари-

цы о ссылке В. Л. Долгорукого в Соловецкий монастырь и инструкция, по которой следовало содержать нового узника. Указ адресовался архангельскому губернатору генералу Мещерскому, который сменил прежнего, оказавшегося неугодным властям губернатора Измайлова. В инструкции — все те же строгости: содержать «в келье под крепким караулом, из которой, кроме церкви, за монастырь никуда не выпускать и к нему никого не допускать».

4 августа 1730 года Долгорукий был доставлен в Соловецкий монастырь и был заключен в ту же самую келью, где год назад скончался Петр Андреевич Толстой. Но, вероятно, сердце императрицы что-то еще помнило, ибо Василий Лукич содержался в монастыре в условиях, которые другим арестантам даже не могли присниться. При нем находились пять его крепостных слуг, ему разрешалось писать домой «о присылке к себе для пропитания запасов и о прочих домашних нуждах...», за ним были сохранены титулы и собственность. Но содержание было строгим. Он сидел один в келье круглосуточно, выход разрешался только во внутреннюю тюремную церковь, общение со слугами лишь через охрану.

Так прошло девять долгих лет. Но в 1739 году злобный Бирон отыскал какие-то якобы ранее не раскрытые грехи за Долгоруким, его вывезли в Новгород и казнили отсечением головы.

О третьем соловецком узнике из «гнезда Петрова» Платоне Ивановиче Мусине-Пушкине мы уже рассказывали в главе, посвященной Выдомскому — делу П. А. Осиповой-Вульф. Он был арестантом Соловков недолго — всего несколько месяцев в 1740 году, и спасла его от длительного заточения внезапная смерть Анны Иоанновны и наступившие династические перемены.

Всем трем узникам, влиятельнейшим сановникам петровского времени, несмотря на жесткие указы и инструкции о строгом их содержании, помогал как мог, скрашивал их пребывание в монастырской тюрьме добрый, умный и дальновидный архимандрит Варсонофий. Возглавлял он эту обитель долго — с 1720 по 1740 год — и в истории Соловецкого монастыря известен своей заботливостью и добротой к братии и многими делами по укреп-

ленню доброго влияния монастыря на многочисленных прихожан, разнесших славу обители по всей России.

Знал Варсонофия и юный Ломоносов. Именно к годам управления Соловецкой обителью этого настоятеля и относятся плавания Ломоносова с отцом по Белому морю. Но эти плавания, оказывается, совершались не только ради промысла рыбы. Недавно найденные краеведом-помором А. А. Туигусовым документы (переданы им в Институт русской литературы) показывают, что Василий Дорофеевич Ломоносов был не только промысловиком, но и доверенным лицом архиепископского дома. Церковное правление огромного Беломорского и Двинского края в те годы было сосредоточено в Холмогорах, и Соловецкий монастырь, как и все обители края, подчинялся холмогорскому архиепископу. И Ломоносов-старший, совершая промысловые плавания, еще и выполнял разные поручения архиепископа — доставлял грамоты и указы настоятелям приморских монастырей, привозил от них ответы, а также разные товары для архиепископского дома (семгу, белужье сало, прочую рыбу, меха). Бывал с сыном и в Соловках. Непогода нередко задерживала поморов, и добрый Варсонофий разрешал жадному до знаний Михайле Ломоносову знакомиться с библиотекой Соловецкого монастыря [8]. Здесь Ломоносов мог познакомиться с историческими материалами, использованными им позднее в «Экстракте о стрелецких бунтах»,— они были только в рукописном сборнике, хранящемся в Соловецком книжном собрании.

Варсонофий в 1740 году стал архиепископом холмогорским, и Ломоносов, будучи уже известным ученым, шлет ему в 1746 году через своих земляков, часто приезжавших в Петербург с товаром, книгу «Волфианская экспериментальная физика» с письмом, полным добрых чувств и пожеланий. Долго биографы Ломоносова не знали причины этой благосклонности ученого к церковному иерарху. Ныне стало ясно, что благодарные чувства Ломоносова к игумену Варсонофию родились еще в Соловецком монастыре.

Но вернемся к узникам соловецкой тюрьмы. Доброжелательность Варсонофия к ним была известна в сенате. Ему приходилось писать объяснения, оправдываться [9]. И это удавалось только

потому, что он был известен церковным властям многими своими настоятельскими заслугами.

В самый разгар работы А. С. Пушкина над «Историей Петра» в шестом номере журнала «Библиотека для чтения» за 1834 год была напечатана повесть-быль писателя-декабриста А. А. Бестужева, писавшего под псевдонимом А. Марлинский,— «Мореход Никитин»[10]. Она была весьма популярна в те дни и не могла пройти мимо внимания Пушкина. В ней описывались подлинные события, случившиеся в 1810 году в водах Баренцева моря. Небольшое торговое судно помора-морехода Савелия Никитина (подлинное имя Матвей Герасимов) было захвачено в море английским военным кораблем. Русский экипаж был заперт в трюме, а плененное судно в свои воды повел английский экипаж. Но русские моряки сумели в борьбе освободиться, захватить обратно корабль и привести его в родной Архангельск вместе с побитыми и плененными британцами.

Эта история была знаменательна еще и тем, что она повторила широко известный подобный подвиг, совершенный во времена Петра, в 1711 году. В сражении под Нарвою в 1700 году был пленен шведами князь Яков Федорович Долгорукий — один из сподвижников Петра. Он пробыл в плену 10 лет. Но вот в 1710 году во время перевоза морем русских пленных из Стокгольма в г. Умео Я. Долгорукий с товарищами сумел захватить шведский корабль и привести его в Ревель (ныне Таллин). Этот подвиг был известен в истории России, описан в «Деяниях Петра Великого» И. И. Голикова (т. 17, М., 1798) и воспет К. Ф. Рылеевым в 1823 году в думе «Яков Долгорукий». А. С. Пушкин в своей «истории Петра» подробно описывает битву под Нарвою 1700 года и пленение Долгорукого. Затем в его «Истории» имя Я. Долгорукого снова многократно повторяется после 1711 года, ибо по возвращении из плена Яков Федорович снова в числе активнейших помощников Петра.

Но вернемся к «Мореходу Никитину». Читатели того времени, и в их числе Пушкин, с интересом знакомились с некоторыми подробностями поморского бытования, природой Беломорья и с описанием Соловецкого монастыря: «Ахнешь, брат, как повидишь, из каких громад сложены стены монастырские! Вышины —

взглянешь, так шапка долой; толщины — десять колесниц рядом проскочут; и каждый камень больше избы. Ведь святым угодникам ангелы помогали: человеку ни вздумать ни сгадать, не то чтобы руками поднять такое бремя...»

Это живое описание обители, близ которой писатель никогда не был, соответствовало легендам о грандиозности монастырских построек. Действительность же им не уступала.

Остается только добавить, что подробное описание приездов Петра на Соловки, как и историческую правду об этом северном оплоте государства и церкви, Пушкин, надо полагать, прочел в значительной книге настоятеля Соловецкого монастыря, «Архимандрита и кавалера» Досифея. Книга получила цензурное разрешение в 1833 году, но увидела свет лишь в 1836-м под названием «Географическое, историческое и статистическое описание Соловецкого монастыря». И сегодня это издание имеет значительную научную ценность.

ПРИМЕЧАНИЯ

«СОСЛАТЬ В СОЛОВЕЦКИЙ...»

[1] Мейлах Б. С. Жизнь Александра Пушкина. Л., «Художественная литература», 1974, с. 149.

[2] Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина. СПб., 1910, с. 65.

[3] Журн. «Соловецкие острова», 1928, № 5—6, стр. 189.

[4] Богуславский Г. Острова Соловецкие. Северо-Западное кн. изд.-во, Архангельск, 1971, с. 70.

[5] Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Л., «Наука», 1975, с. 212.

[6] Фруменков Г. Г. Болынская В. А. Декабристы на Севере. Архангельск, Северо-Западное кн. изд-во, 1988, с. 164.

«ПОДПОРУЧИК ВЫНДОМСКИЙ»

[1] Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Л., «Просвещение», 1980, с. 54.

[2] Эйдельман Н. Осьмнадцатый Пушкинский. «Наука и жизнь», 1981, № 9, с. 99.

[3] Ремарчук В. В. Заметка Пушкина о железной маске. В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. X, Л., «Наука», 1982, с. 316.

[4] Фруменков Г. Г. Узники Соловецкого монастыря. Северо-Западное кн. изд-во. Архангельск, 1979, с. 59—74.

[5] Павленко Н. И. Птенцы гнезда Петрова. М., «Мысль», 1988, с. 256.

[6] Пушкин А. С. Письма к жене. Л, «Наука», 1988 (Лит. памятники), с. 129.

[7] Вильбасов В. А. История Екатерины II, т. II. Берлин, 1900, с. 328.

[8] Эйдельман Н. Пушкин. История и современность в художественном сознании поэта. М., «Сов. писатель», 1984, с. 158—180.

[9] Кошелев В. Вологодские давности. Архангельск. Северо-Зап. кн. изд-во, 1985, с. 117.

«БЫВШИЕ ПУШКИНЫ»

[1] Мейлах Б. С. Декабристы и Пушкин. Иркутск. Восточно-Сибирское кн. изд-во, 1987, с. 291.

[2] Тюнькин К. И. «Нет, не черкешенка она...» В кн.: «Прометей». Альманах, т. 10. М., «Молодая гвардия», 1974, с. 178.

[3] Глассе А. Пушкин и Гогенлоэ. В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. X. Л., «Наука», 1982, с. 360.

[4] Государственный архив Горьковской области, ф. 570, оп. 556, д. 4, л. 2,3.

[5] Екатерина Дашкова. Записки 1743—1810. Л., «Наука», 1985, с. 44, 56.

[6] Письма русских писателей XVIII века. Л., «Наука», 1980, с. 216.

[7] Михайлова Н. И. Письма В. Л. Пушкина к П. А. Вяземско-

му. В кн.: Пушкин. Исследоаания и материалы, т. XI. Л., «Наука». 1983, с. 244.
[8] Утков В. Книги и судьбы. М., «Книга», 1967, с. 19, 23, 27.
[9] Модзалевский Б. Л. Род Пушнина. В ни.: Пушкин. Собр. соч. Под ред. С. А. Венгерова, т. 1. СПб., 1907, с. 2—3.
[10] Телетова Н. К. Забытые родственные связи А. С. Пушкииа. Л., «Науна», 1981, с. 163—164.

«Я ПОМНЮ, КАК В ТЮРЬМЕ ЖЕСТОКОЙ...»

[1] Мейлах Б. С. Денабристы и Пушкин, с. 290.
[2] Герцеи А. И. Собрание сочииеннй а 30 тт., т. VIII, М., 1956, с. 214.
[3] Мейлах Б. С. Денабристы и Пушнин, с. 292.
[4] Раевский В. Ф. Материалы о жизин и революцноиной деятельности. Иркутск, 1983, т. I, с. 342.
[5] Журн. «Солоаецние остроаа». 1929. № 1, с. 18.
[6] Фрумеинова Г. Г. Узннкн Солоаецного моиастыря, с. 115—120.
[7] Нечкииа М. В. Даижение декабристов. М., АН СССР, 1955, с. 435.
[8] Лемке М. К. Тайное общество братьеа Критсних. Сб. «Былое», 1906, № 6, с. 46.
[9] Декабристы. Биографнческий словарь. М., «Наука», 1988, с. 56.
[10] Фрумеиков Г. Г. Узники Соловецкого монастыря, с. 162.

«ПУШКИН... ОЧЕНЬ ЕГО ПОЛЮБИЛ»

[1] Телетова Н. К. Забытые родстаенные связи А. С. Пушнина, с. 123.
[2] Леец Г. Абрам Петрович Ганиибал. Таллини. 1980, с. 179.
[3] Гейчеико С. Пушкииогорье. Ромаи-газета. 1987, № 1, с. 49.
[4] Павлищеа Л. Воспомннаиия об А. С. Пушкнне. М., 1890, с. 20.
[5] «Дела и дни». Историч. журнал. Петербург, 1920, с. 260—270.
[6] Фрумеикоа Г. Г. Гаииибал а Солоаецкой тюрьме. В кн.: Патриот Сеаера, Сбориик. Архангельск, 1985, с. 36—46.
[7] Колчии М. А. Ссыльные и заточеные в острог Солоаецкого монастыря а XVI—XIX ав. М., 1908, с. 160.
[8] Черейский Л. А. Пушкии и его окружение, с. 90, 91.
[9] Пушнии. Исследоваиия и материалы. т. Х. Л., «Наука», 1982, с. 317.

«...И УМЕРШИЙ В СОЛОВЕЦКОМ МОНАСТЫРЕ»

[1] Боголепов П., Верховская Н., Сосицкая М. Тропа к Пушкииу. М, «Детская литература», 1967, с. 52.
[2] Эицнклопедический слоаарь. Издаиие Брокгауз Ф., Ефрон И. А. СПб., 1903, т. 19, с. 378.
[4] Кусов Г. И. Малоизаестные страннцы Каказского путешестаия А. С. Пушкина. Орджоиикидзе. 1987, с. 69, 73.
[5] Модзалеаский Б. Л. Бнблнотека А. С. Пушкииа. СПб., 1910, с. 15.

«К СТУДЕНЫМ СЕВЕРНЫМ ВОЛНАМ»

[1] Болдинская осень. Сборинн. Текст В. И. Порудомиского, Н. Я. Эйдельмаиа. М., «Молодая гвардия», 1974, с. 172.
[2] Томашеаснний Б. В. Пушкни, т. II. М—Л.. Изд-во АН СССР, 1961, с. 264.

[3] Ахматова А. А. Пушкин и Невское взморье. В кн. «Прометей», т. 10. М., «Молодая гвардия», 1974, с. 218.
[4] Словарь языка Пушкина. М., Гос. изд-во словарей, 1956, т. 4. с. 413.
[5] Клейман Н. И. О тексте пушкинского наброска «Когда порой воспоминанье...». В кн.: Болдинские чтения. Горький, 1977, с. 62.
[6] Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий с. 374.
[7] Черейский Л. А. Пушкин и его окружение, с. 443.

«ИЗ „ДНЕВНИКА" ЦЕНЗОРА»

[1] Черейский Л. А. Пушкин и его окружение, Л., «Наука». 1975, с. 161.
[2] Гура В. А. Времен соединенье. Очерки, портреты, этюды, обзоры. Архангельск, Северо-Западн. кн. изд-во. 1985, с. 81.
[3] Неведов Ю. Б. Секретное дознание о В. С. Филимонове. «Литературное наследство», т. 60, 1956, кн. 1, с. 572—573.
[4] Черейский Л. А. Пушкин и его окружение, с. 136.
[5] Вацуро В. А. М. И. Гиллельсон. Сквозь «умственные плотины». М., «Книга», 1986, с. 210—240.
[6] Никитенко А. В. Дневник в 3-х томах. М., Госиздат, 1956. т. I, с. 59.
[7] Никитенко А. В. Дневник. Т. 1, с. 140.
[8] Никитенко А. В. Дневник. Т. 1, с. 156.
[9] Никитенко А. В. Дневник. Т. 1, с. 154.
[10] Черейский Л. А. Пушкин и его окружение, с. 400.
[11] Никитенко А. В. Дневник. Т. 1, с. 200.
[12] Никитенко А. В. Дневник. Т. 1, с. 240.

«ОТПРАВИЛСЯ К СОЛОВЕЦКОМУ МОНАСТЫРЮ...»

[1] Цявловский М. А. Книга воспоминаний о Пушкине. М., «Мир», 1931, с. 348—351.
[2] Сиатов Н. Н. «Историческая моя совесть». В кн.: А. С. Пушкин. Исторические заметки. Л., 1984, с. 523.
[3] Фейнберг И. Л. Абрам Петрович Ганнибал — прадед А. С. Пушкина. М., «Наука», 1983, с. 43—80.
[4] Фруменков Г. Г. Соловецкий монастырь и оборона Беломорья. Архангельск, Северо-Западное кн. изд-во, 1975, с. 73—90.
[5] Фруменков Г. Г. Узники Соловецкого монастыря. Архангельск, 1979, с. 46—74.
[6] Павленко Н. И. Птенцы гнезда Петрова. М., «Мысль», 1988, с. 232.
[7] Фруменков Г. Г. Узники Соловецкого монастыря. С. 50.
[8] Моисеева Г. Н. Новые материалы об отце Ломоносова. Русская литература, 1972, № 4, с. 102—105.
[9] Колчин М. Ссыльные и заточенные в острог Соловецкого монастыря в XVI—XIX вв. «Арсредние», М., 1908, с. 39.
[10] Декабристы. Антология. Л., «Художественная литература», 1975, т. II, с. 232, 422.

СОДЕРЖАНИЕ

Петр Петроанч ТАТАУРОВ
...И СЛОВО ЭТО БЫЛО — РОССИЯ
Игорь Владимнрович **СТРЕЖНЕВ**
«СПАСИ МЕНЯ... СОЛОВЕЦКИМ МОНАСТЫРЕМ»

Отаетстаенный за аыпуск **И. Жеглов**
Редактор **М. Новииов**
Художестаенный редактор **Г. Комаров**
Техническнй редактор **Н. Алеисандрова**
Корректоры **И. Гончарова, Н. Самойлова**

Сдано а набор 07.08.90. Подпнсано а печать 17.12.90. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2. Гарннтура «Школьная». Печать аысокая. Условн. печ. л. 4,9. Учетно-изд. л. 5,7. Тнраж 70 000 экз. Издат. № 2164. Зак. 0—446. Цена 30 коп.

Адрес редакцнн: 125015, Москва, А-15, Ноаодмнтровская ул., д. 5а.

Ордена Трудового Красного Знаменн нздательско-полиграфическое объединение ЦК ВЛКСМ «Молодая гаардня». Адрес ИПО: 103030, Москва, К-30. ГСП-4, Сущеаская ул., 21.

Полиграфкомбниат ЦК ЛКСМ Украины «Молодь» ордена Трудового Красиого Знаменн нздательско-полнграфнческого объедннения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардня». Адрес полнграфкомбината: 252119, Киеа-119, Пархоменко, 38—44.

ISBN 5-235-01653-X
ISSN 0131-225


30 коп.